

Александр
ФАДЕЕВ
Разгром



Александр Александрович Фадеев
Разгром
Серия «Русская классика (Эксмо)»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=74655306

Разгром: Эксмо; Москва; 2016

ISBN 978-5-04-256618-9

Аннотация

Два романа, отражающие разные этапы творческого пути Александра Фадеева: широко известный «Разгром» и последний незаконченный роман «Последний из Удэге», над которым писатель работал почти тридцать лет – посвящены истории борьбы за советскую власть на Дальнем Востоке и гражданской войне на Дальнем Востоке. Даже тема общая, а между романами – целая жизнь...

Работу над «Последним из Удэге» не прекращал до последних дней своей жизни...

Содержание

Разгром	10
I. Морозка	10
II. Мечик	19
III. Шестое чувство	29
IV. Один	37
V. Мужики и «Угольное племя»	44
VI. Левинсон	58
VII. Враги	70
VIII. Первый ход	81
IX. Мечик в отряде	96
X. Начало разгрома	110
Конец ознакомительного фрагмента.	122

Александр Фадеев

Разгром

Сборник

© Фадеев А. А., наследники, 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2016

* * *





Александр Александрович

ФАДЕЕВ

(1901–1956)

РУССКАЯ КЛАССИКА

Александр
ФАДЕЕВ

Разгром

Москва



2016

Разгром

I. Морозка

Бренча по ступенькам избитой японской шашкой, Левинсон вышел во двор. С полей тянуло гречишным медом. В жаркой бело-розовой пене плавало над головой июльское солнце.

Ординарец Морозка, отгоняя плетью осатаневших цесарок, сушил на брезенте овес.

– Свезешь в отряд Шалдыбы, – сказал Левинсон, протягивая пакет. – На словах передай... впрочем, не надо – там все написано.

Морозка недовольно отвернул голову, заиграл плеткой – ехать не хотелось. Надоели скучные казенные разъезды, никому не нужные пакеты, а больше всего – нездешние глаза Левинсона; глубокие и большие, как озера, они вбирали Морозку вместе с сапогами и видели в нем многое такое, что, может быть, и самому Морозке неведомо.

«Жулик», – подумал ординарец, обидчиво хлопая веками.

– Чего же ты стоишь? – рассердился Левинсон.

– Да что, товарищ командир, как куда ехать, счас же Морозку. Будто никого другого и в отряде нет...

Морозка нарочно сказал «товарищ командир», чтобы вы-

шло официальной: обычно называл просто по фамилии.

– Может быть, мне самому съездить, а? – спросил Левинсон едко.

– Зачем самому? Народу сколько угодно...

Левинсон сунул пакет в карман с решительным видом человека, исчерпавшего все мирные возможности.

– Иди сдай оружие начхозу, – сказал он с убийственным спокойствием, – и можешь убираться на все четыре стороны. Мне баламутов не надо...

Ласковый ветер с реки трепал непослушные Морозкины кудри. В обомлевших полынях у амбара ковали раскаленный воздух неутомимые кузнечики.

– Обожди, – сказал Морозка угрюмо. – Давай письмо.

Когда прятал за пазуху, не столько Левинсону, сколько себе пояснил:

– Уйти из отряда мне никак невозможно, а винтовку сдать – тем паче. – Он сдвинул на затылок пыльную фуражку и сочным, внезапно повеселевшим голосом закончил: – Потому не из-за твоих расчудесных глаз, дружище мой Левинсон, кашницу мы заварили!.. По-простому тебе скажу, по-шахтерски!..

– То-то и есть, – засмеялся командир, – а сначала кобенился... балда!..

Морозка притянул Левинсона за пуговицу и таинственным шепотом сказал:

– Я, брат, уже совсем к Варюхе в лазарет снарядился, а ты

тут со своим пакетом. Выходит, ты самая балда и есть...

Он лукаво мигнул зелено-карим глазом и фыркнул, и в смехе его – даже теперь, когда он говорил о жене, – скользили въевшиеся с годами, как плесень, похабные нотки.

– Тимоша! – крикнул Левинсон ословелому парнишке на крыльце. – Иди овес покарауль: Морозка уезжает.

У конюшен, оседлав перевернутое корыто, подрывник Гончаренко чинил кожаные выюки. У него была непокрытая, опаленная солнцем голова и темная рыжеющая борода, плотно скатанная, как войлок. Склонив кремневое лицо к выюкам, он размашисто совал иглой, будто вилами. Могучие лопатки ходили под холстом жерновами.

– Ты что, опять в отъезд? – спросил подрывник.

– Так точно, ваше подрывательское степенство!..

Морозка вытянулся в струнку и отдал честь, приставив ладонь к неподобающему месту.

– Вольно, – снисходительно сказал Гончаренко, – сам таким дураком был. По какому делу посылают?

– А так, по плевому; промяться командир велел. А то, говорит, ты тут еще детей нарожаешь.

– Дурак... – пробурчал подрывник, откусывая дратву, – трепло сучанское.

Морозка вывел из пуни лошадь. Гривастый жеребчик настороженно прядал ушами. Был он крепок, мохнат, рысист, походил на хозяина: такие же ясные, зелено-карие глаза, так же приземист и кривоног, так же простовато-хитер и блуд-

лив.

– Мишка-а... у-у... Сатана-а... – любовно ворчал Морозка, затягивая подпругу. – Мишка... у-у... божья скотинка...

– Ежли прикинуть, кто из вас умнее, – серьезно сказал подрывник, – так не тебе на Мишке ездить, а Мишке на тебе, ей-богу.

Морозка рысью выехал за поскотину.

Заросшая проселочная дорога жалась к реке. Залитые солнцем, стлались за рекой гречаные и пшеничные нивы. В теплой пелене качались синие шапки Сихотэ-Алиньского хребта.

Морозка был шахтер во втором поколении. Дед его – обиженный своим богом и людьми сучанский дед – еще пахал землю; отец променял чернозем на уголь.

Морозка родился в темном бараке, у шахты № 2, когда сиплый гудок звал на работу утреннюю смену.

– Сын?.. – переспросил отец, когда рудничный врач вышел из каморки и сказал ему, что родился именно сын, а не кто другой.

– Значит, четвертый... – подытожил отец покорно. – Веселая жизнь...

Потом он напялил измазанный углем брезентовый пиджак и ушел на работу.

В двенадцать лет Морозка научился вставать по гудку, катать вагонетки, говорить ненужные, больше матерные слова и пить водку. Кабаков на Сучанском руднике было не мень-

ше, чем копров.

В ста саженьях от шахты кончалась падь и начинались сопки. Оттуда строго смотрели на поселок обомшелые кондовые ели. Седыми, туманными утрами таежные изюбры старались перекричать гудки. В синие пролеты хребтов, через крутые перевалы, по нескончаемым рельсам ползли день за днем груженные углем дековильки на станцию Кангауз. На гребнях черные от мазута барабаны, дрожа от неустannого напряжения, наматывали скользкие тросы. У подножий перевалов, где в душистую хвою непрошено затесались каменные постройки, работали неизвестно для кого люди, разноголосо свистели «кукушки», гудели электрические подъемники.

Жизнь действительно была веселой.

В этой жизни Морозка не искал новых дорог, а шел старыми, уже выверенными тропами. Когда пришло время, купил сатиновую рубаху, хромовые, бутылками, сапоги и стал ходить по праздникам на село в долину. Там с другими ребятами играл на гармошке, дрался с парнями, пел срамные песни и «портил» деревенских девок.

На обратном пути «шахтерские» крали на баштанах арбузы, кругленькие муромские огурцы и купались в быстрой горной речушке. Их зычные, веселые голоса будоражили тайгу, ущербный месяц с завистью смотрел из-за утеса, над рекой плавала теплая ночная сырость.

Когда пришло время, Морозку посадили в затхлый, про-

пахнувший онучами и клопами полицейский участок. Это случилось в разгар апрельской стачки, когда подземная вода, мутная, как слезы ослепших рудничных лошадей, день и ночь сочилась по шахтным стволам и никто ее не выкачивал.

Его посадили не за какие-нибудь выдающиеся подвиги, а просто за болтливость: надеялись пристращать и выведать о зачинщиках. Сидя в вонючей камере вместе с майхинскими спиртоносами, Морозка рассказал им несметное число похабных анекдотов, но зачинщиков не выдал.

Когда пришло время, уехал на фронт – попал в кавалерию. Там научился презрительно, как все кавалеристы, смотреть на «пешую кобылку», шесть раз был ранен, два раза контужен и уволился по чистой еще до революции.

А вернувшись домой, пропьянствовал недели две и женился на доброй, гулящей и бесплодной откатчице из шахты № 1. Он все делал необдуманно: жизнь казалась ему простой, немудрящей, как кругленький муромский огурец с сучанских баштанов.

Может быть, потому, забрав с собой жену, ушел он в восемнадцатом году защищать Советы.

Как бы то ни было, но с той поры вход на рудник был ему заказан: Советы отстоять не удалось, а новая власть не очень-то уважала таких ребят.

Мишка сердито цокал коваными копытцами; оранжевые пауты назойливо жужжали над ухом, путались в мохнатой шерсти, искусывая до крови.

Морозка выехал на Свягинский боевой участок. За ярко-зеленым ореховым холмом невидимо притаилась Крыловка; там стоял отряд Шалдыбы.

– В-з-з... в-з-з... – жарко пели неугомонные пауты.

Странный, лопающийся звук тряхнул и прокатился за холмом. За ним – другой, третий... Будто сорвавшийся с цепи зверь ломал на стреме колючий кустарник.

– Обожди, – сказал Морозка чуть слышно, натянув поводья. Мишка послушно оцепенел, подавшись вперед мускулистым корпусом.

– Слышишь?.. Стреляют!.. – выпрямляясь, возбужденно забормотал ординарец. – Стреляют!.. Да?..

– Та-та-та... – залился за холмом пулемет, сшивая огненными нитками оглушительное уханье бердан, округло-четкий плач японских карабинов.

– В карьер!.. – закричал Морозка тугим взволнованным голосом.

Носки привычно впились в стремяна, дрогнувшие пальцы расстегнули кобуру, а Мишка уже рвался на вершину через хлопающий кустарник.

Не выезжая на гребень, Морозка осадил лошадь.

– Обожди здесь, – сказал, соскакивая на землю и забрасывая повод на луку седла: Мишка – верный раб – не нуждался в привязи.

Морозка ползком взобрался на вершину. Справа, миновав Крыловку, правильными цепочками, разученно, как на

параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева, в панике, расстроенными кучками метались по златоколосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба (Морозка узнал его по вороному коню и островерхой барсучьей папахе) хлестал плеткой во все стороны и не мог удерживать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики.

– Сволочи, что делают, что только делают... – все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозка.

В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит – несколько раз пытался подняться, ползти, протягивал руки, кричал что-то неслышное.

Люди прибавляли ходу, оставив его позади, не оглядываясь.

– Сволочи, и что только делают! – снова сказал Морозка, нервно впиваясь пальцами в потный карабин.

– Мишка, сюда!.. – крикнул он вдруг не своим голосом. Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину.

Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Мо-

розка летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово-огненные пауты, падала куда-то в пропасть лошадиная спина, стремглав свистел под ногами ячмень.

– Ложись!.. – крикнул Морозка, перебрасывая повод на одну сторону и бешено прищпоривая жеребца одной ногой.

Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой стонущей фигуры с белой, окрашенной кровью повязкой на голове.

– Ложись... – хрипел Морозка, раздирая удилом лошадиные губы.

Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю.

– Больно, ой... бо-больно!.. – стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови.

– Молчи, зануда!.. – прошептал Морозка.

Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма – к деревушке, где стоял отряд Левинсона.

II. Мечик

Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда.

Морозка не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком.

– Желторотый... – насмешливо процедил ординарец, когда бесчувственного парнишку уложили на койку в избе у Рябца. – Немного царапнули, а он и размяк.

Морозке хотелось сказать что-нибудь очень обидное, но он не находил слов.

– Известно, сопливый... – бурчал он недовольным голосом.

– Не трепись, – перебил Левинсон сурово. – Бакланов!.. Ночью отвезете парня в лазарет.

Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы (звать Павлом Мечиком), сверток с письмами и женской фотографической карточкой.

Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное, в светлых кудряшках, девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, с застывшими, бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу.

Он не слышал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая, безглазая темь, тянуло свежим и крепким, как бы настоящим на спирту, запахом хвои и прелого листа.

Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытие.

Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнувшийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура.

Первое, что охватило Мечика, – что исходило от этой спокойной фигуры – от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук, – было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности.

– Где я? – тихо спросил Мечик.

Высокий, негнувшийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую, жесткую ладонь, пощупал пульс.

– Сойдет... – сказал он спокойно. – Варя, приготовьте все для перевязки да кликните Харченко... – Помолчал немного

и неизвестно для чего добавил: — Уж заодно.

Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул.

Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал.

— Вот и хорошо, — сказал высокий мужчина, кончая перевязку. — Три дырки настоящих, а в голову — так, царапина. Через месяц зарастут, или я — не Сташинский. — Он несколько оживился, быстрее зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый — однообразно мигал.

Мечика умыли. Он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг.

Какие-то люди сутились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на посошок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате.

Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смоляными запахами, плыла сытая таежная тишина.

Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представ-

лял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик, – в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения.

Люди в сопках (знакомые только по газетам) вставляли перед глазами как живые – в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно-сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках.

Она, наверно, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться...

У самой Крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.

– Кто такой? – спросил остролицый парень в матросской фуражке.

– Да вот... послан из города...

– Документы?

Пришлось разуться и достать путевку.

– «...При... морской... о-бластной комитет... социалистов... ре-лю-ци-не-ров...» – читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечика колючие, как бодяки, глаза. – Та-ак... – протянул неопределенно.

И вдруг, налившись кровью, схватил Мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным, визгливым голосом:

– Как же ты, паскуда...

– Что? Что?.. – растерялся Мечик. – Да ведь это же – «мак-

сималистов»... Прочтите, товарищ!

– Обыска-ать!..

Через несколько минут Мечик – избитый и обезоруженный – стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе, с черными глазами, прожигающими до пяток.

– Они не разобрали... – говорил Мечик, нервно всхлипывая и заикаясь. – Ведь там же написано – «максималистов»... Обратите внимание, пожалуйста...

– А ну, дай бумагу.

Человек в барсучьей папахе уставился на путевку. Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса.

– Дурак... – сказал сурово. – Не видишь: «максималистов»...

– Ну да, ну вот! – воскликнул Мечик обрадованно. – Ведь я же говорил – максималистов! Ведь это же совсем другое...

– Выходит, зря били... – разочарованно сказал матрос. – Чудеса!

В тот же день Мечик стал равноправным членом отряда.

Окружающие люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над Мечиком по всякому поводу – над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку,

даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом.

Но зато это были не книжные, а настоящие, живые люди.

Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, Мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной, болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную таежную тишину.

Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные маньчжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых – двое: сучанский партизан Фролов, раненный в живот, и Мечик.

Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к Мечику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину: в невозмутимой тишине, у древнего, поросшего мхом скита сидит над озером, на изумрудном берегу, светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие, в жаркой истоме, ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина...

Не об этом ли сне тоскует у Мечика душа?

Напевным голоском, как деревенский дьячок, Пика рассказывал о сыне – бывшем красногвардейце.

– Да-а... Приходит это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались – дело понят-

ное. Вижу только, сумный он штой-то... «Я, говорит, батя, в Читу уезжаю». – «Почему такое?...» – «Да там, говорит, батя, чехословаки объявились». – «Ну-к что ж, говорю, чехословаки?... Живи здесь; смотри, говорю, благодать-то какая?...» И верно: на пасеке у меня – только што не рай: березка, знаишь, липа в цвету, пчелки... в-ж-ж... в-ж-ж...

Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг.

– И что ж ты скажешь?... Не остался! Так и не остался... Уехал... Теперь и пасеку «колчаки» разгромили, и сына нема... Вот – жизнь!

Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри, жест.

Но еще больше любил он, когда приходила «милосердная сестра». Она обшивала и обмывала весь лазарет. Чувствовалась в ней большущая любовь к людям, а к Мечику она относилась особенно нежно и заботливо. Постепенно поправляясь, он начинал смотреть на нее земными глазами. Она была немножко сутула и бледна, а руки ее излишне велики для женщины. Но ходила она какой-то особенной, неплавной, сильной походкой, и голос ее всегда что-то обещал.

И когда она садилась рядом на кровать, Мечик уже не мог лежать спокойно. (Он никогда бы не сознался в этом девушке в светлых кудряшках.)

– Блудливая она – Варька, – сказал однажды Пика. – Морозка, муж ее, в отряде, а она блудит...

Мечик посмотрел в ту сторону, куда, подмигивая, указывал старик. Сестра стирала на прогалине белье, а около нее вертелся фельдшер Харченко. Он то и дело наклонялся к ней и говорил что-то веселое, и она, все чаще отрываясь от работы, поглядывала на него странным дымчатым взглядом. Слово «блудливая» пробудило в Мечике острое любопытство.

– А отчего она... такая? – спросил он Пику, стараясь скрыть смущение.

– А шут ее знает, с чего она такая ласковая. Не может никому отказать – и все тут...

Мечик вспомнил о первом впечатлении, которое произвела на него сестра, и непонятная обида шевельнулась в нем.

С этой минуты он стал внимательней наблюдать за ней. В самом деле, она слишком много «крутила» с мужчинами, – со всяким, кто хоть немножко мог обходиться без чужой помощи. Но ведь в госпитале больше не было женщин.

Утром как-то, после перевязки, она задержалась, оправляя Мечику постель.

– Посиди со мной... – сказал он, краснея.

Она посмотрела на него долго и внимательно, как в тот день, стирая белье, смотрела на Харченко.

– Ишь ты... – сказала невольно с некоторым удивлением.

Однако, оправив постель, присела рядом.

– Тебе нравится Харченко? – спросил Мечик.

Она не слышала вопроса – ответила собственным мыслям, притягивая Мечика большими дымчатыми глазами:

– А ведь такой молоденький... – И спохватившись: – Харченко?.. Что ж, ничего. Все вы – на одну колодку...

Мечик вынул из-под подушки небольшой сверток в газетной бумаге. С поблекшей фотографии глянуло на него знакомое девичье лицо, но оно не показалось ему таким милым, как раньше, – оно смотрело с чужой и деланной веселостью, и хотя Мечик боялся сознаться в этом, но ему странно стало, как мог он раньше так много думать о ней. Он еще не знал, зачем это делает и хорошо ли это, когда протягивал сестре портрет девушки в светлых кудряшках.

Сестра рассматривала его – сначала вблизи, потом отставив руку, и вдруг, выронив портрет, вскрикнула, вскочила с постели и быстро оглянулась назад.

– Хороша курва! – сказал из-за клена чей-то насмешливый хрипловатый голос.

Мечик покосился в ту сторону и увидел странно знакомое лицо с ржавым непослушным чубом из-под фуражки и с насмешливыми зелено-кариими глазами, у которых было тогда другое выражение.

– Ну, чего испугалась? – спокойно продолжал хрипловатый голос. – Это я не на тебя – на патрет... Много я баб переменял, а вот патретов не имею. Может, ты мне когда подаришь?..

Варя пришла в себя и засмеялась.

– Ну и напугал... – сказала не своим – певучим бабьим голосом. – Откуда это тебя, черта патлатого... – И обраща-

ясь к Мечику: – Это – Морозка, муж мой. Всегда что-нибудь устроит.

– Да мы с ним знакомы... трошки, – сказал ординарец, с усмешкой оттенив слово «трошки».

Мечик лежал как пришибленный, не находя слов от стыда и обиды. Варя уже забыла про карточку и, разговаривая с мужем, наступила на нее ногой. Мечику стыдно было даже попросить, чтобы карточку подняли.

А когда они ушли в тайгу, он, стиснув зубы от боли в ногах, сам достал вмятый в землю портрет и изорвал его в клочки.

III. Шестое чувство

Морозка и Варя вернулись за полдень, не глядя друг на друга, усталые и ленивые.

Морозка вышел на прогалину и, заложив два пальца в рот, свистнул три раза пронзительным разбойным свистом. И когда, как в сказке, вылетел из чащи курчавый, звонкокопытый жеребец, Мечик вспомнил, где он видал обоих.

– Михрютка-а... сукин сы-ын... заждался?.. – ласково ворчал ординарец.

Проезжая мимо Мечика, он посмотрел на него с хитровой усмешкой.

Потом, ныряя по косогорам в тенистой зелени балок, Морозка еще не раз вспоминал о Мечике. «И зачем только идут такие до нас? – думал он с досадой и недоумением. – Когда начинали, никого не было, а теперь на готовенькое – идут...» Ему казалось, что Мечик действительно пришел «на готовенькое», хотя на самом деле трудный крестный путь лежал впереди. «Придет эдакой шпендрик – размякнет, нагадит, а нам расхлебывай... И что в нем дура моя нашла?»

Он думал еще о том, что жизнь становится хитрей, старые сучанские тропы зарастают, приходится самому выбирать дорогу.

В думах, непривычно тяжелых, Морозка не заметил, как выехал в долину. Там – в душистом пырее, в диком, кудря-

вом клевере звенели косы, плыл над людьми прилежный ра-
ботяга-день. У людей были курчавые, как клевер, борода,
потные и длинные, до колен, рубахи. Они шагали по проко-
сам размеренным, приседающим шагом, и травы шумно ло-
жились у ног, пахучие и ленивые.

Завидев вооруженного всадника, люди не спеша бросали
работу и, прикрывая глаза натруженными ладонями, долго
смотрели вслед.

– Как свечечка!.. – восхищались они Морозкиной посад-
кой, когда, приподнявшись на стремянах, склонившись к пе-
редней луке выпрямленным корпусом, он плавно шел на ры-
сях, чуть-чуть вздрагивая на ходу, как пламя свечи.

За излучиной реки, у баштанов сельского председателя
Хомы Рябца, Морозка придержал коня. Над баштанами не
чувствовалось заботливого хозяйского глаза: когда хозяин
занят общественными делами, баштаны зарастают травой,
сгнивает дедовский курень, пузатые дыни с трудом вызрева-
ют в духовитой пыли и пугало над баштанами похоже на
сдыхающую птицу.

Воровато оглядевшись по сторонам, Морозка свернул к
покосившемуся куреню. Осторожно заглянул вовнутрь. Там
никого не было. Валялись какие-то тряпки, заржавленный
обломок косы, сухие корки огурцов и дынь. Отвязав мешок,
Морозка соскочил с лошади и, пригибаясь к земле, пополз
по грядам. Лихорадочно разрывая плети, запихивал дыни в
мешок, некоторые тут же съедал, разламывая на колене.

Мишка, помахивая хвостом, смотрел на хозяина хитрым, понимающим взглядом, как вдруг, заслышав шорох, поднял лохматые уши и быстро повернул к реке кудлатую голову. Из ивняка вылез на берег длиннобородый, ширококостный старик в полотняных штанах и коричневой войлочной шляпе. Он с трудом удерживал в руках ходивший ходуном нерет, где громадный плоскожабрый таймень в муках бился предсмертным биением. С нерета холодными струйками стекала на полотняные штаны, на крепкие босые ступни разбавленная водой малиновая кровь.

В рослой фигуре Хомя Егоровича Рябца Мишка узнал хозяина гнедой широкозадой кобылицы, с которой, отделенный дощатой перегородкой, Мишка жил и столовался в одной конюшне, томясь от постоянного вожделения. Тогда он приветливо растопырил уши и, запрокинув голову, глупо и радостно заржал.

Морозка испуганно вскочил и замер в полусогнутом положении, держась обеими руками за мешок.

– Что же ты... делаешь?.. – с обидой и дрожью в голосе сказал Рябец, глядя на Морозку невыносимо строгим и скорбным взглядом. Он не выпускал из рук туго вздрагивающий нерет, и рыба билась у ног, как сердце от невысказанных, вскипающих слов.

Морозка опустил мешок и, трусливо вбирая голову в плечи, побежал к лошади. Уже на седле он подумал о том, что нужно было бы, вытряхнув дыни, захватить мешок с собой,

чтобы не осталось никаких улик. Но, поняв, что уже теперь все равно, пришпорил жеребца и помчался по дороге пыльным, сумасшедшим карьером.

– Обожди-и, найдем мы на тебя управу... найдем!.. найдем!.. – кричал Рябец, навалившись на одно слово и все еще не веря, что человек, которого он в течение месяца кормил и одевал, как сына, обкрадывает его баштаны, да еще в такое время, когда они зарастают травой оттого, что их хозяин работает для мира.

В садике у Рябца, разложив в тени, на круглом столике, подклеенную карту, Левинсон допрашивал только что вернувшегося разведчика.

Разведчик – в стеганом мужицком надеване и в лаптях – побывал в самом центре японского расположения. Его круглое, оженное солнцем лицо горело радостным возбуждением только что миновавшей опасности.

По словам разведчика, главный японский штаб стоял в Яковлевке. Две роты из Спасск-Приморска передвинулись в Сандагоу, зато Свиягинская ветка была очищена, и до Шабановского Ключа разведчик ехал на поезде вместе с двумя вооруженными партизанами из отряда Шалдыбы.

– А куда Шалдыба отступил?

– На корейские хутора...

Разведчик попытался найти их на карте, но это было не так легко, и он, не желая показаться невеждой, неопределенно ткнул пальцем в соседний уезд.

– У Крыловки их здорово потрепали, – продолжал он бойко, шмыгая носом. – Теперь половина ребят разбрелась по деревням, а Шалдыба сидит в корейском зимовье и жрет чумизу. Говорят, пьет здорово. Свихнулся вовсе.

Левинсон сопоставил новые данные с теми, что сообщил вчера даубихинский спиртонос Стыркша, и с теми, что присланы были из города. Чувствовалось что-то неладное. У Левинсона был особенный нюх по этой части – шестое чутье, как у летучей мыши.

Неладное чувствовалось в том, что выехавший в Спасское председатель кооператива вторую неделю не возвращался домой, и в том, что третьего дня сбежало из отряда несколько сандагоуских крестьян, неожиданно загрустивших по дому, и в том, что хромоногий хунхуз Ли-фу, державший с отрядом путь на Уборку, по неизвестным причинам свернул к верховьям Фудзина.

Левинсон снова и снова принимался расспрашивать и снова весь уходил в карту. Он был на редкость терпелив и настойчив, как старый таежный волк, у которого, может быть, недостает уже зубов, но который властно водит за собой стаи – непобедимой мудростью многих поколений.

– Ну, а чего-нибудь особенного... не чувствовалось?

Разведчик смотрел, не понимая.

– Нюхом, нюхом!... – пояснил Левинсон, собирая пальцы в щепотку и быстро поднося их к носу.

– Ничего не унюхал... Уж как есть... – виновато сказал

разведчик. «Что я – собака, что ли?» – подумал он с обидным недоумением, и лицо его сразу стало красным и глупым, как у торговки на сандагоуском базаре.

– Ну, ступай... – махнул Левинсон рукой, насмешливо прищуривая вслед голубые, как омуты, глаза.

Один он в задумчивости прошелся по саду, остановившись у яблони, долго наблюдал, как возится в коре крепкоголовый, песочного цвета жучок, и какими-то неведомыми путями пришел вдруг к выводу, что в скором времени отряд разгонят японцы, если к этому не подготовиться заранее.

У калитки Левинсон столкнулся с Рябцом и своим помощником Баклановым – коренастым парнишкой лет девятнадцати, в суконной защитной гимнастерке и с недремлющим кольцом у пояса.

– Что делать с Морозкой?.. – с места выпалил Бакланов, собирая над переносом тугие складки бровей и гневно выбрасывая из-под них горящие, как угли, глаза. – Дыни у Рябца крал... вот, пожалуйста!..

Он с поклоном повел руками от командира к Рябцу, словно предлагал им познакомиться. Левинсон давно не видал помощника в таком возбуждении.

– А ты не кричи, – сказал он спокойно и убедительно, – кричать не нужно. В чем дело?..

Рябец трясущимися руками протянул злополучный мешок.

– Полбаштана изгадил, товарищ командир, истинная

правда! Я, знаешь, нерета проверял – в кои веки собрался, – когда вылезаю с ивнячка...

И он пространно изложил свою обиду, особенно напирая на то, что, работая для мира, вовсе запустил хозяйство.

– Бабы у меня, знаешь, заместо того, чтоб баштаны выполоть, как это у людей ведется, на покосе маются. Как проклятые!..

Левинсон, выслушав его внимательно и терпеливо, послал за Морозкой.

Тот явился с небрежно заломленной на затылок фуражкой и с неприступно-наглым выражением, которое всегда напускал, когда чувствовал себя неправым, но предполагал врать и защищаться до последней крайности.

– Твой мешок? – спросил командир, сразу вовлекая Морозку в орбиту своих немутнеющих глаз.

– Мой...

– Бакланов, возьми-ка у него смит...

– Как возьми?.. Ты мне его давал?! – Морозка отскочил в сторону и расстегнул кобуру.

– Не балуй, не балуй... – с суровой сдержанностью сказал Бакланов, туже сбирая складки над переносьем.

Оставшись без оружия, Морозка сразу размяк.

– Ну, сколько я там дынь этих взял?.. И что это вы, Хома Егорыч, на самом деле. Ну, ведь сущий же пустяк... на самом деле!

Рябец, выжидательно потупив голову, шевелил босыми

пальцами запыленных ног.

Левинсон распорядился, чтоб к вечеру собрался для обсуждения Морозкиного поступка сельский сход вместе с отрядом.

– Пускай все узнают...

– Иосиф Абрамыч... – заговорил Морозка глухим, потемневшим голосом. – Ну, пушай – отряд... уж все равно. А мужиков зачем?

– Слушай, дорогой, – сказал Левинсон, обращаясь к Рябцу и не замечая Морозки, – у меня дело к тебе... с глазу на глаз.

Он взял председателя за локоть и, отведя в сторону, попросил в двухдневный срок собрать по деревне хлеба и насушить пудов десять сухарей.

– Только смотри, чтоб никто не знал – зачем сухари и для кого.

Морозка понял, что разговор окончен, и уныло поплелся в караульное помещение.

Левинсон, оставшись наедине с Баклановым, приказал ему с завтрашнего дня увеличить лошадям порцию овса:

– Скажи начхозу, пусть сыплет полную мерку.

IV. Один

Приезд Морозки нарушил душевное равновесие, установившееся в Мечике под влиянием ровной, безмятежной жизни в госпитале.

«Почему он смотрел так пренебрежительно? – подумал Мечик, когда ординарец уехал. – Пусть он вытащил меня из огня, разве это дает право насмехаться?.. И все, главное... все...» Он посмотрел на свои тонкие, исхудавшие пальцы, ноги под одеялом, скованные лубками, и старые, загнанные внутри обиды вспыхнули в нем с новой силой, и душа его сжалась в смятении и боли.

С той самой поры, как остролицый парень с колючими, как бодяки, глазами враждебно и жестоко схватил его за воротник, каждый шел к Мечика с насмешкой, а не с помощью, никто не хотел разбираться в его обидах. Даже в госпитале, где таежная тишина дышала любовью и миром, люди ласкали его только потому, что в этом состояла их обязанность. И самым тяжелым, самым горьким для Мечика было чувствовать себя одиноким после того, как и его кровь осталась где-то на ячменном поле.

Его потянуло к Пике, но старик, расстелив халат, мирно спал под деревом на опушке, подложив под голову мягкую шапчонку. От круглой, блестящей лысинки расходились во все стороны, как сияние, прозрачные серебряные волосики.

Двое парней – один с перевязанной рукой, другой, прихрамывая на ногу, – вышли из тайги. Остановившись около старика, жуликовато перемигнулись. Хромой отыскал соломинку и, приподняв брови и сморщившись, словно сам собирался чихнуть, пощекотал ею в Пикином носу. Пика сонно заворчал, поерзал носом, несколько раз отмахнулся рукой, наконец громко чихнул к всеобщему удовольствию. Оба прыснули со смеха и, пригибаясь к земле, оглядываясь, как нашкодившие ребята, побежали к барaku – один бережно поджимая руку, другой – воровато припадая на ногу.

– Эй ты, помощник смерти! – закричал первый, увидев на завалинке Харченко и Варю. – Ты что ж это баб наших лапаешь?.. А ну, а ну, дай-ка и мне подержаться... – заворчал он масляным голосом, садясь рядом и обнимая сестру здоровой рукой. – Мы тебя любим – ты у нас одна, а этого черномазого гони – гони его к мамаше, гони его, сукиного сына!.. – Он той же рукой пытался оттолкнуть Харченко, но фельдшер плотно прижимался к Варе с другого бока и скалил ровные, пожелтевшие от «маньчжурки» зубы.

– А мне иде ж притулиться? – плаксиво загнул хромой. – И что же это такое, где ж это правда, и кто ж это уважит раненого человека, – как это вы смотрите, товарищи, милые граждане?.. – зачастил он, как заведенный, моргая влажными веками и бестолково размахивая руками.

Его спутник устрашающе дрыгал ногой, не подпуская близко, а фельдшер хохотал неестественно громко, незамет-

но залезая Варе под кофточку. Она смотрела на них покорно и устало, даже не пытаясь выгнать Харченкову руку, и вдруг, поймав на себе растерянный взгляд Мечика, вскочила, быстро запахивая кофточку и заливаясь, как пион.

– Лезут, как мухи на мед, кобели рваные!.. – сказала в сердцах и, низко склонив голову, убежала в барак. В дверях защемила юбку и, сердито выдернув ее, снова хлопнула дверью так, что мох посыпался из щелей.

– Вот тебе и сестра-а!.. – певуче возгласил хромой. Скривился, как перед табачной понюшкой, и захихикал – тихо, мелко и пакостно.

А из-под клена, с койки, с высоты четырех матрацев, уставив в небо желтое, изнуренное болезнью лицо, чуждо и строго смотрел раненый партизан Фролов. Взгляд его был тускл и пуст, как у мертвого. Рана Фролова была безнадежна, и он сам знал это с той минуты, когда, корчась от смертельной боли в животе, впервые увидел в собственных глазах бесплотное, опрокинутое небо. Мечик почувствовал на себе его неподвижный взгляд и, вздрогнув, испуганно отвел глаза.

– Ребята... шкодят... – хрипло сказал Фролов и пошевелил пальцем, будто хотел доказать кому-то, что еще жив.

Мечик сделал вид, что не слышит.

И хотя Фролов давно забыл про него, он долго боялся посмотреть в его сторону, – казалось, раненый все еще глядит, ощерясь в костлявой, обтянутой улыбке.

Из барака, неловко сломившись в дверях, вышел доктор

Сташинский. Сразу выпрямился, как длинный складной ножик, и стало странным, как это он мог согнуться, когда вылезал. Он большими шагами подошел к ребятам и, забыв, зачем они понадобились, удивленно остановился, мигая одним глазом...

– Жара... – буркнул наконец, складывая руку и проводя ею по стриженной голове против волос. Вышел же он сказать, что нехорошо надоедать человеку, который не может же заменить всем мать и жену.

– Скучно лежать? – спросил он Мечика, подходя к нему и опуская ему на лоб сухую, горячую ладонь.

Мечика тронуло его неожиданное участие.

– Мне – что?.. поправился и пошел, – встрепенулся Мечик, – а вот вам как? Вечно в лесу.

– А если надо?..

– Что надо?.. – не понял Мечик.

– Да в лесу мне быть... – Сташинский принял руку и впервые с человеческого любопытством посмотрел Мечику прямо в глаза своими – блестящими и черными. Они смотрели как-то издалека и тоскливо, будто вобрали всю бессловесную тоску по людям, что долгими ночами гложет таежных одиночек у чадных сихотэ-алиньских костров.

– Я понимаю, – грустно сказал Мечик и улыбнулся так же приветливо и грустно. – А разве нельзя было в деревне устроиться?.. То есть не то что вам лично, – перехватил он недоуменный вопрос, – а госпиталь в деревне?

– Безопасней здесь... А вы сами откуда?

– Я из города.

– Давно?

– Да уж больше месяца.

– Крайзельмана знаете? – оживился Сташинский.

– Знаю немножко...

– Ну, как он там? А еще кого знаете? – Доктор сильнее замигал глазом и так внезапно опустился на пенек, словно его сзади ударили под коленки.

– Вонсика знаю, Ефремова... – начал перечислять Мечик, – Гурьева, Френкеля – не того, что в очках, – с тем я незнаком, – а маленького...

– Да ведь это же все «максималисты»?! – удивился Сташинский. – Откуда вы их знаете?

– Так ведь я все с ними больше... – неуверенно пробормотал Мечик, почему-то робея.

«А-а...» – хотел сказать как будто Сташинский и не сказал.

– Хорошее дело, – буркнул сухо, каким-то почужевшим голосом и встал. – Ну-ну... поправляйтесь... – сказал, не глядя на Мечика. И, как бы боясь, что тот позовет его обратно, быстро зашагал к бараку.

– Васютину еще знаю!.. – пытаюсь за что-то ухватиться, прокричал Мечик вслед.

– Да... да... – несколько раз повторил Сташинский, полуоглядываясь и учащая шаги.

Мечик понял, что чем-то не угодил ему, – сжался и покраснел.

Вдруг все переживания последнего месяца хлынули на него разом, – он еще раз попытался за что-то ухватиться и не смог. Губы его дрогнули, и он заморгал быстро-быстро, удерживая слезы, но они не послушались и потекли, крупные и частые, расплзаясь по лицу. Он с головой закрылся одеялом и, не сдерживаясь больше, заплакал тихо-тихо, стараясь не дрожать и не всхлипывать, чтобы никто не заметил его слабости.

Он плакал долго и безутешно, и мысли его, как слезы, были солонь и терпки. Потом, успокоившись, он так и остался лежать неподвижно, с закрытой головой. Несколько раз подходила Варя. Он хорошо знал ее сильную поступь, будто до самой смерти сестра обязалась толкать перед собой нагруженный вагончик. Нерешительно постояв возле койки, она снова уходила. Потом приковылял Пика.

– Спишь? – спросил внятно и ласково.

Мечик притворился спящим. Пика выждал немного. Слышно было, как поют на одеяле вечерние комары.

– Ну, спи...

Когда стемнело, снова подошли двое – Варя и еще кто-то. Бережно приподняв койку, понесли ее в барак. Там было жарко и сыро.

– Иди... иди за Фроловым... я сейчас приду, – сказала Варя.

Она несколько секунд постояла над койкой и, осторожно приподняв с головы одеяло, спросила:

– Ты что это, Павлуша?.. Плохо тебе?..

Она первый раз назвала его Павлушей.

Мечик не мог разглядеть ее в темноте, но чувствовал ее присутствие так же, как и то, что они только вдвоем в бараке.

– Плохо... – сказал он сумрачно и тихо.

– Ноги болят?..

– Нет, так себе...

Она быстро нагнулась и, крепко прижавшись к нему большой и мягкой грудью, поцеловала его в губы.

V. Мужики и «Угольное племя»

Желая проверить свои предположения, Левинсон пошел на собрание заблаговременно – потереться среди мужиков, нет ли каких слухов.

Сход собирался в школе. Народу было еще немного: несколько человек, рано вернувшихся с поля, сумерничали на крыльце. Через раскрытые двери видно было, как Рябец возится в комнате с лампой, прилаживая закопченное стекло.

– Осипу Абрамычу, – почтительно кланялись мужики, по очереди протягивая Левинсону темные, одеревеневшие от работы пальцы. Он поздоровался с каждым и скромно уселся на ступеньке.

За рекой разноголосо пели девчата; пахло сеном, отсыревающей пылью и дымом костров. Слышно было, как бьются на пароме усталые лошади. В теплой вечерней мгле, в скрипе нагруженных телег, в протяжном мычании сытых недоенных коров угасал мужичий маетный день.

– Маловато чтой-то, – сказал Рябец, выходя на крыльцо. – Да многих и не соберешь седни, на покосе ночуют многие...

– А сход на что в буден день? Аль срочное что?

– Да есть тут одно дельце... – замялся председатель. – Набузил тут один ихний, – у меня живет. Оно, как бы сказать, и пустяки, а цельная канитель получилась... – Он смущенно

посмотрел на Левинсона и замолчал.

– А коли пустое, так и не след бы собирать!.. – разом загалдели мужики. – Время такое – мужику каждый час дорог.

Левинсон объяснил. Тогда они наперебой стали выкладывать свои крестьянские жалобы, вертевшиеся больше вокруг покоса и бестоварья.

– Ты бы, Осип Абрамыч, прошелся как-нибудь по покосам, посмотрел, чем косят люди? Целых кос ни у кого, хучь бы одна для смеху, – все латаные. Не работа – маета.

– Семен надысь какую загубил! Ему бы все скорей, – жадный мужик до дела, – идет по прокоосу, сопит, ровно машина, в кочку ка-ак... звезданет!.. Теперь уж, сколько ни чини, не то.

– Добрая «литовка» была!..

– Мои-то – как там?.. – задумчиво сказал Рябец. – Управились, чи не? Трава нонче богатая – хотя б к воскресенью летошний клин сняли. Станет нам в копеечку война эта.

В дрожащую полосу света падали из темноты новые фигуры в длинных грязно-белых рубахах, некоторые с узелками – прямо с работы. Они приносили с собой шумливый мужицкий говор, запахи дегтя и пота и свежескошенных трав.

– Здравствуйте в вашу хату...

– Хо-хо-хо!.. Иван?.. А ну, кажи морду на свет – здорово чмели покусали? Видал я, как ты бежал от их, задницей дрыгал...

– Ты чего ж это, зараза, мой клин скосил?

– Как твой! Не бреши!.. Я – по межу, тютелька в тютельку. Нам чужого не надуть – своего хватает...

– Знаем мы вас... Хвата-ет! Свиной ваших с огорода не стонишь... Скоро на моем баштане пороситься будут... Хвата-ет!..

Кто-то, высокий, сутулый и жесткий, с одним блестящим во тьме глазом, вырос над толпой, сказал:

– Японец третьего дня в Сундугу пришел. Чугуевские ребята баяли. Пришел, занял школу – и сразу по бабам: «Руськи барысня, руськи барысня... сю-сю-сю». Тьфу, прости господи!.. – оборвал он с ненавистью, резко рванув рукой наотмашь, словно отрубая.

– Он и до нас дойдет, это уж как пить...

– И откуда напасть такая?

– Нету мужику покою...

– И все-то на мужике, и все-то на ем! Хотя б уж на что одно вышло...

– Главная вещь – и выходов никаких! Хучь так в могилу, хучь так в гроб – одна дистанция!..

Левинсон слушал, не вмешиваясь. Про него забыли. Он был такой маленький, неказистый на вид – весь состоял из шапки, рыжей бороды да ичигов выше колен. Но, вслушиваясь в растрепанные мужицкие голоса, Левинсон улавливал в них внятные, ему одному тревожные нотки.

«Плохо дело, – думал он сосредоточенно, – совсем худо... Надо завтра же написать Сташинскому, чтобы рассовывал

раненых куда можно... Замереть на время, будто и нет нас... караулы усилить...»

— Бакланов! — окликнул он помощника. — Иди-ка сюда на минутку... Дело вот какое... садись поближе. Думаю я, мало нам одного часового у поскотины. Надо конный дозор до самой Крыловки... ночью особенно... Уж больно беспечны мы стали.

— А что? — встрепнулся Бакланов. — Разве тревожно что?.. или что? — Он повернул к Левинсону бритую голову, и глаза его, косые и узкие, как у татарина, смотрели настороженно, пытливо.

— На войне, милый, всегда тревожно, — сказал Левинсон ласково и ядовито. — На войне, дорогой, это не то, что с Марусей на сеновале... — Он засмеялся вдруг дробно и весело и ущипнул Бакланова в бок.

— Ишь ты, какой умный... — завторил Бакланов, схватив Левинсона за руку и сразу превращаясь в драчливого, веселого и добродушного парня. — Не дрыгай, не дрыгай — все равно не вырвешься!.. — ласково ворчал он сквозь зубы, скручивая Левинсону руку назад и незаметно прижимая его к колонке крыльца.

— Иди, иди — вон Маруся зовет... — хитрил Левинсон. — Дапусти ты, ч-черт!.. неудобно на сходке...

— Только что неудобно, а то бы я тебе показал...

— Иди, иди... вон она, Маруся-то... иди!

— Дозорного, я думаю, одного? — спросил Бакланов, вста-

вая.

Левинсон с улыбкой смотрел ему вслед.

— Геройский у тебя помощник, — сказал кто-то. — Не пьет, не курит, а главное дело — молодой. Заходит третьеводни в избу, хомута разжиться... «Что ж, говорю, не хочешь ли рюмашечку с перчиком?» — «Нет, говорит, не пью. Уж ежели, говорит, угостить думаешь, молочка давай — молочко, говорит, люблю, это верно». А пьет он его, знаешь, ровно малый ребенок — с мисочки — и хлебец крошит... Боевой парень, одно слово!..

В толпе, поблескивая ружейными дулами, все чаще мелькали фигуры партизан. Ребята сходились к сроку, дружно. Пришли наконец шахтеры во главе с Тимофеем Дубовым, рослым забойщиком с Сучана, теперь взводным командиром. Они так и влились в толпу отдельной, дружной массой, не растворяясь, только Морозка сумрачно сел поодаль на завалинке.

— А-а... и ты здесь? — заметив Левинсона, обрадованно загудел Дубов, будто не видел его много лет и никак не ожидал здесь встретить. — Что это там корышок наш набузил? — спросил он медленно и густо, протягивая Левинсону большую черную руку. — Проучить, проучить... чтоб другим неповадно было!.. — загудел снова, не дослушав объяснений Левинсона.

— На этого Морозку давно уж пора обратить внимание — пятно на весь отряд кладет, — ввернул сладкоголосый парень,

по прозвищу Чиж, в студенческой фуражке и чищенных сапогах.

– Тебя не спросили! – не глядя, обрезал Дубов.

Парень поджал было губы обидчиво и достойно, но, поймав на себе насмешливый взгляд Левинсона, юркнул в толпу.

– Видал гуся? – мрачно спросил взводный. – Зачем ты его держишь?.. По слухам, его самого за кражу с института выгнали.

– Не всякому слуху верь, – сказал Левинсон.

– Уж заходили бы, что ли ча!.. – взывал с крыльца Рябец, растерянно разводя руками, словно не ожидал, что его заросший баштан породит такое скопление народа. – Уж начинали бы... товарищ командир?.. До петухов нам толочься тут...

В комнате стало жарко и зелено от дыма. Скамеек не хватало. Мужики и партизаны вперемежку забили проходы, столпились в дверях, дышали Левинсону в затылок.

– Начинай, Осип Абрамыч, – угрюмо сказал Рябец. Он был недоволен и собой и командиром – вся история казалась теперь никчемной и хлопотной.

Морозка протискался в дверях и стал рядом с Дубовым, сумрачный и злой.

Левинсон больше упирал на то, что никогда бы не стал отрывать мужиков от работы, если бы не считал, что дело это общее, затронуты обе стороны, а кроме того, в отряде много местных.

– Как вы решите, так и будет, – закончил он веско, под-

ражая мужичьей степенной повадке. Медленно опустился на скамью, просунулся назад и сразу стал маленьким и незаметным – сгас, как фитилек, оставив сход в темноте самому решать дело.

Заговорили сначала несколько человек туманно и нетвердо, путаясь в мелочах, потом ввязались другие. Через несколько минут уж ничего нельзя было понять. Говорили больше мужики, партизаны молчали глухо и выжидающе.

– Тоже и это не порядок, – строго бубнил дед Евстафий, седой и насупистый, как летошний мох. – В старое время, при Миколашке, за такие дела по селу водили. Обвешают краденым и водют под сковородную музыку!.. – Он наставительно грозил кому-то высохшим пальцем.

– А ты по-миколашкину не меряй!.. – кричал сутулый и одноглазый – тот, что рассказывал о японцах. Ему все время хотелось размахивать руками, но было слишком тесно, и от этого он пуще злился. – Тебе бы все Миколашку!.. Отошло времечко... тю-тю, не воротишь!..

– Да уж Миколашку не Миколашку, а только и это не право, – не сдавался дед. – И так всю шатию кормим. А воров плодить нам тоже не сподручно.

– Кто говорит – плодить? Никто за воров и не чепляется! Воров, может, ты сам разводишь!.. – намекнул одноглазый на дедова сына, бесследно пропавшего лет десять тому назад. – Только тут своя мерка нужна! Парень, может, шестой год воует, – неужто и дынькой не побаловаться?..

– И что ему шкодить было?.. – недоумевал один. – Господи твоя воля – благо бы добро какое... Да зайди б ко мне, я б ему полную кайстру за глаза насыпал... На, бери – свиней кормим, не жаль дерьма для хорошего человека!..

В мужичьих голосах не чувствовалось злобы. Большинство сходилось на одном: старые законы не годятся, нужен какой-то особый подход.

– Пушай сами решают с председателем!.. – выкрикнул кто-то. – Нечего нам в это дело лезти.

Левинсон поднялся снова, постучал по столу.

– Давайте, товарищи, по очереди, – сказал тихо, но внятно, так, что все слышали. – Разом будем говорить – ничего не решим. А Морозов-то где?.. А ну, иди сюда... – добавил он, потемнев, и все покосились туда, где стоял ординарец.

– Мне и отсюда видать... – глухо сказал Морозка.

– Иди, иди... – подтолкнул его Дубов.

Морозка заколебался. Левинсон подался вперед и, сразу схватив его, как клещами, немигающим взглядом, выдернул из толпы, как гвоздь.

Ординарец пробрался к столу, низко склонив голову, ни на кого не глядя. Он сильно вспотел, руки его дрожали. Почувствовав на себе сотни любопытных глаз, он попробовал было поднять голову, но наткнулся на суровое, в жестком войлоке, лицо Гончаренки. Подрывник смотрел сочувственно и строго. Морозка не выдержал и, обернувшись к окну, замер, упершись в пустоту.

– Вот теперь и обсудим, – сказал Левинсон по-прежнему удивительно тихо, но слышно для всех, даже за дверями. – Кто хочет говорить? Вот ты, дед, хотел, кажется?..

– Да что тут говорить, – смутился дед Евстафий, – мы так только, промеж себя...

– Разговор тут недолгий, сами решайте! – снова загалдели мужики.

– А ну, старик, мне слово дай... – неожиданно сказал Дубов с глухой и сдержанной силой, смотря на деда Евстафия, отчего и Левинсона назвал по ошибке стариком. В голосе Дубова было такое, что все головы, вздрогнув, повернулись к нему.

Он протискался к столу и стал рядом с Морозкой, загорюхав Левинсона большой и грузной фигурой.

– Самим решать?.. боитесь?! – рванул гневно и страстно, грудью обламывая воздух. – Сами решим!.. – Он быстро наклонился к Морозке и впился в него горящими глазами. – Наш, говоришь, Морозка... шахтер? – спросил напряженно и едко. – У-у... нечистая кровь – сучанская руда!.. Не хочешь нашим быть? блудишь? позоришь угольное племя? Ладно!.. – Слова Дубова упали в тишине с тяжелым медным грохотом, как гулкий антрацит.

Морозка, бледный как полотно, смотрел ему в глаза не отрываясь, и сердце падало в нем, словно подбитое.

– Ладно!.. – снова повторил Дубов. – Блуди! Посмотрим, как без нас проживешь!.. А нам... выгнать его надо!.. – обо-

рвал он вдруг, резко оборачиваясь к Левинсону.

– Смотри – прокидаешься! – выкрикнул кто-то из партизан.

– Что?! – переспросил Дубов страшно и шагнул вперед.

– Да цыц же вы, го-споди... – жалобно прогнусил из угла перепуганный старческий голос.

Левинсон сзади схватил взводного за рукав.

– Дубов... Дубов... – спокойно сказал он. – Подвинься малость – народ загораживаешь.

Заряд Дубова сразу пропал, взводный осекся, растерянно мигая.

– Ну, как нам выгнать его, дурака? – заговорил Гончаренко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову. – Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь, – напакостил парень, сам я с ним кажен день лаюсь... Только и парень, сказать, боевой – не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли, на передовых. Свой парень – не выдаст, не продаст...

– Свой... – с горечью перебил Дубов. – А нам он, думаешь, не свой?.. В одной дыре коптили... третий месяц под одной шинелькой спим!.. А тут всякая сволочь, – вспомнил он вдруг сладкоголосого Чижа, – учить будет!..

– Вот я к тому и веду, – продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова (он принял его ругательство на свой счет). – Бросить это дело без последствий никак невозможно, а сразу прогонять тоже не резон – прокидаемся. Мое мне-

ние такое: спросить его самого!.. – И он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного.

– Верно!.. Самого спросить!.. Пушай скажет, ежели сознательный!..

Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился на Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами.

– Говори, как сам мыслишь!..

Морозка покосился на Левинсона.

– Да разве б я... – начал он тихо и смолк, не находя слов.

– Говори, говори!.. – закричали поощрительно.

– Да разве б я... сделал такое... – Он опять не нашел нужного слова и кивнул на Рябца... – Ну, дыни эти самые... сделал бы, ежели б подумал... со зла или как? А то ведь сизмальства это у нас – все знают, так вот и я... А как сказал Дубов, что всех я ребят наших... да разве же я, братцы!.. – вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным... – Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..

Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату: собака лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели девчата, рядом у попа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. «Заводи-и!..» – протяжно кричали на пароме.

– Ну, как я сам себя накажу?.. – с болью, но уже значитель-

но тверже и менее искренне продолжал Морозка... – Только слово дать могу... шахтерское... уж это верное будет – маться не стану...

– А если не сдержишь? – осторожно спросил Левинсон.

– Сдержу я... – И Морозка сморщился, стыдясь перед мужиками.

– А если нет?..

– Тогда что хотите... хоть расстреляйте...

– И расстреляем! – строго сказал Дубов, но глаза его блеснули уже без всякого гнева, любовно и насмешливо.

– Значит, и шабаш! Амба!.. – закричали со скамей.

– Ну вот, и делов-то всех... – заговорили мужики, радуясь тому, что канительное собрание приходит к концу. – Дело-то пустяковое, а разговоров на год...

– На этом и решим, что ли?.. Других предложений не будет?..

– Да закрывай ты, ч-черт!.. – шумели партизаны, проравшись после недавнего напряжения. – И то надоело уж... Жрать охота, – кишка кишке шиш показывает!..

– Нет, обождите, – сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурясь. – С этим вопросом покончено, теперь другой...

– Что там еще?!

– Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять... – Он оглянулся вокруг... – А секретаря-то у нас и не было!.. – засмеялся он вдруг мелко и добродушно. – Иди-ка, Чиж, за-

пиши... такую резолюцию принять: чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, хоть немного... – Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.

– Да мы того не требуем!.. – крикнул кто-то из мужиков. Левинсон подумал: «Ключуло...»

– Цыц, ты-ы... – оборвали мужика остальные. – Слухай лучше. Пушай и вправду поработают – руки не отвалятся!..

– А Рябцу мы особо отработаем...

– Почему особо? – заволновались мужики. – Что он за шишка?.. Невелик труд – председателем всякий может!..

– Кончать, кончать!.. согласны!.. записывай!.. – Партизаны срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из комнаты.

– И-эх... Ваня-а!.. – подскочил к Морозке лохматый, востроносый парень и, мелко постукивая сапожками, потащил его к выходу. – Мальчик ты мой разлюбезный, сыночек ты мой, сопливая ноздря... И-эх! – вытапывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая Морозку другой рукой.

– Иди ты, – беззлобно пхнул его ординарец.

Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов.

– Ну, и здоровый этот Дубов, – говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками. – Вот их с Гончаренкой сравить! Кто кого, как ты думаешь?

Левинсон, занятый другим, не слушал его. Отсыревшая

пыль сдавала под ногами зыбуче и мягко.

Морозка незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь, точно шли с работы, а не со сходки.

На бугор ползли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журливых голосов.

«Мишку еще не поил...» – встрепенулся Морозка, входя постепенно в привычный вымеренный круг.

В конюшне, почуяв хозяина, Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивая: «Где это ты шляешься?» Морозка нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни.

– Ишь обрадовался, – оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями. – Только блудить умеешь, а отдуваться – так мне одному...

VI. Левинсон

Отряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю – оброс хозяйством: заводными лошадьми, подводами, кухонными котлами, вокруг которых ютились оборванные, сговорчивые дезертиры из чужих отрядов, – народ разленился, спал больше, чем следует, даже в караулах. Тревожные вести не позволяли Левинсону сдвинуть с места всю эту громоздкую махину: он боялся сделать опрометчивый шаг – новые факты то подтверждали, то высмеивали его опасения. Не раз он обвинял себя в излишней осторожности – особенно, когда стало известно, что японцы покинули Крыловку и разведка не обнаружила неприятеля на многие десятки верст.

Однако никто, кроме Сташинского, не знал об этих колебаниях Левинсона. Да и никто в отряде не знал, что Левинсон может вообще колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем – за исключением таких людей, как Дубов, Сташинский, Гончаренко, знавших истинную его цену, – человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особенно юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, перенимавший даже его внешние манеры, думал примерно так: «Конечно, я, грешный человек, имею много слабостей; я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть; дома у меня заботливая

и теплая жена или невеста, по которой я скучаю; я люблю сладкие дыни, или молочко с хлебцем, или же чищенные сапоги, чтобы покорять девчат на вечерке. А вот Левинсон – это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; он знает только одно – *дело*. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку...»

С той поры как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на другом месте: каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке, – каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, что о нем думают именно как о человеке «особой породы», знал также многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере он никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, каким он – Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благо-

дарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт – навыки борьбы, работы, поведения. И Левинсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым, а это – очень важно и нужно.

...В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховой-Ковтун – начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховой-Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем зимовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить...

Слух о поражении шел по долине с зловещей быстротой, и все же эстафета обогнала его. Каждый ординарец чувствовал, что это самая страшная эстафета, какую только приходилось возить с начала движения. Тревога людей передавалась лошадям. Мохнатые партизанские кони, оскалив зубы, карьером рвались от села к селу по хмурым, размокшим проселкам, разбрызгивая комья сбитой копытами грязи...

Левинсон получил эстафету в половине первого ночи, а через полчаса конный взвод пастуха Метелицы, миновав Крыловку, разлетелся веером по тайным сихотэ-алиньским тропам, разнося тревожную весть в отряды Свягинского боевого участка.

Четыре дня собирал Левинсон разрозненные сведения из отрядов, мысль его работала напряженно и ощупью – будто прислушиваясь. Но он по-прежнему спокойно разговаривал с людьми, насмешливо шурил голубые, нездешние глаза, дразнил Бакланова за шашни с «задрипанной Маруськой». А когда Чиж, осмелевший от страха, спросил однажды, почему он ничего не предпринимает, Левинсон вежливо щелкнул его по лбу и ответил, что это «не птичьего ума дело». Всем своим видом Левинсон как бы показывал людям, что он прекрасно понимает, отчего все происходит и куда ведет, что в этом нет ничего необычного или страшного и он, Левинсон, давно уже имеет точный, безошибочный план спасения. На самом деле он не только не имел никакого плана, но вообще чувствовал себя растерянно, как ученик, которого заставили сразу решить задачу со множеством неизвестных. Он ждал еще вестей из города, куда за неделю до тревожной эстафеты уехал партизан Канунников.

Тот явился на пятый день после эстафеты, обросший щетиной, усталый и голодный, но такой же увертливый и рыжий, как до поездки, – в этом отношении он был неисправим.

– В городе провал, и Крайзельман в тюрьме... – сказал Канунников, доставая письмо из неведомого рукава с ловкостью карточного шулера, и улыбнулся одними губами: ему было совсем не весело, но он не умел говорить без того, чтобы не улыбаться. – Во Владимиро-Александровском и на

Ольге – японский десант... Весь Сучан разгромлен. Та-бак дело!.. Закуривай... – и протянул Левинсону позолоченную сигаретку, так что нельзя было понять – относится ли «закуривай» к сигаретке или к делам, которые плохи, «как табак».

Левинсон бегло взглянул на адреса – одно письмо спрята-
л в карман, другое распечатал. Оно подтверждало слова Канунникова. Сквозь официальные строки, полные нарочитой бодрости, слишком ясно проступала горечь поражения и бессилия.

– Плохо, а?.. – участливо спросил Канунников.

– Ничего... Письмо кто писал – Седых?

Канунников утвердительно кивнул.

– Это заметно: у него всегда по разделам... – Левинсон насмешливо подчеркнул ногтем «Раздел IV: Очередные задачи», понюхал сигаретку. – Дрянной табак, правда? Дай прикурить... Ты только там среди ребят не трепись... насчет десанта и прочего... Трубку мне купил? – И, не слушая объяснений Канунникова, почему тот не купил трубки, снова уткнулся в бумагу.

Раздел «Очередные задачи» состоял из пяти пунктов; из них четыре показались Левинсону невыполнимыми. Пятый же пункт гласил:

«...Самое важное, что требуется сейчас от партизанского командования – чего нужно добиться во что бы то ни стало, – это сохранить хотя бы небольшие, но крепкие и дисциплинированные боевые единицы, вокруг которых впослед-

ствии...»

– Позови Бакланова и начхоза, – быстро сказал Левинсон.

Он сунул письмо в полевую сумку, так и не дочитав, что будет впоследствии вокруг боевых единиц. Где-то из множества задач вырисовывалась одна – «самая важная». Левинсон выбросил потухшую сигаретку и забарабанил по столу... «Сохранить боевые единицы...» Мысль эта никак не давалась, стояла в мозгу в виде трех слов, писанных химическим карандашом на линованной бумаге. Машинально нащупал второе письмо, посмотрел на конверт и вспомнил, что это от жены. «Это потом, – подумал он и снова спрятал его. – Сохранить боевые е-ди-ни-цы».

Когда пришли начхоз и Бакланов, Левинсон знал уже, что будут делать он и люди, находящиеся в его подчинении: они будут делать *все*, чтобы сохранить отряд как боевую единицу.

– Нам придется скоро отсюда уходить, – сказал Левинсон. – Все ли у нас в порядке?.. Слово за начхозом...

– Да, за начхозом, – как эхо повторил Бакланов и подтянул ремень с таким суровым и решительным видом, будто заранее знал, к чему все это клонится.

– Мне – что, за мной дело не станет, я всегда готов... Только вот как быть с овсом... – И начхоз стал очень длинно рассказывать о подмоченном овсе, о рваных выюках, о больных лошадях, о том, что «всего овса им никак не поднять», – словом, о таких вещах, которые показывали, что он ни к чему

еще не готов и вообще считает передвижение вредной затеей. Он старался не смотреть на командира, болезненно морщился, мигал и крикал, так как заранее был уверен в своем поражении.

Левинсон взял его за пуговицу и сказал:

– Дуришь...

– Нет, правда, Осип Абрамыч, лучше нам здесь укрепиться...

– Укрепиться?... здесь?... – Левинсон покачал головой, как бы сочувствуя глупости начхоза. – А уж седина в волосах. Да ты чем думаешь, головой ли?

– Я...

– Никаких разговоров! – Левинсон вразумительно подергал его за пуговицу. – В любой момент быть готовым. Ясно?... Бакланов, ты проследишь за этим... – Он отпустил пуговицу. – Стыдно!.. пустяки там выюки твои, пустяки! – Глаза его похолодели, и под их жестким взглядом начхоз окончательно убедился, что выюки – это точно пустяки.

– Да, конечно... ну, что ж, ясно... не в этом суть... – забормотал он, готовый теперь согласиться даже на то, чтобы везти овес на собственной спине, если командир найдет это необходимым. – Что нам может помешать? Да долго ли тут? Фу-у... хоть сегодня – в два счета.

– Вот, вот... – засмеялся Левинсон, – да уж ладно, ладно, иди! – И он легонько подтолкнул его в спину. – Чтоб в любой момент.

«Хитрый, стерва», – с досадой и восхищением думал на-чхоз, выходя из комнаты.

К вечеру Левинсон собрал отрядный совет и взводных командиров.

К известиям Левинсона отнеслись различно. Дубов весь вечер просидел молча, пощипывая густые, тяжело нависшие усы. Видно было, что он заранее согласен с Левинсоном. Особенно возражал против ухода командир 2-го взвода Кубрак. Это был самый старый, самый заслуженный и самый неумный командир во всем уезде. Его никто не поддержал: Кубрак был родом из Крыловки, и всякий понимал, что в нем говорят крыловские пашни, а не интересы дела.

– Крышка! Стоп!.. – перебил его пастух Метелица. – Пора забывать про бабий подол, дядя Кубрак! – Он, как всегда, неожиданно вспылил от собственных слов, ударил кулаком по столу, и его рябое лицо сразу вспотело. – Здесь нас, как курят, – стоп, и крышка!.. – И он забежал по комнате, шаркая мохнатыми улами и плетью раскидывая табуретки.

– А ты потише немножко, не то скоро устанешь, – посоветовал Левинсон. Но втайне он любовался порывистыми движениями его гибкого тела, туго скрученного, как ременный бич. Этот человек минуты не мог просидеть спокойно – весь был огонь и движение, и хищные его глаза всегда горели ненасытным желанием кого-то догонять и драться.

Метелица выставил свой план отступления, из которого видно было, что его горячая голова не боится больших про-

странств и не лишена военной сметки.

– Правильно!.. У него котелок варит! – воскликнул Бакланов, восхищенный и немножко обиженный слишком смелым полетом Метелицыной самостоятельной мысли. – Давно ли коней пас, а годика через два, гляди, всеми нами командовать будет...

– Метелица?.. У-у... да ведь это – сокровище! – подтвердил Левинсон. – Только смотри – не зазнавайся...

Однако, воспользовавшись жаркими прениями, где каждый считал себя умнее других и никого не слушал, Левинсон подменил план Метелицы своим – более простым и осторожным. Но он сделал это так искусно и незаметно, что его новое предложение голосовалось как предложение Метелицы и всеми было принято.

В ответных письмах в город и Сташинскому Левинсон извещал, что на днях переводит отряд в деревню Шибиши, в верховьях Ирохедзы, а госпиталю предписывал оставаться на месте до особого приказа. Сташинского Левинсон знал еще по городу, и это было второе тревожное письмо, которое он писал ему.

Он кончил работу глубокой ночью, в лампе догорал керосин. В открытое окно тянуло сыростью и прелью. Слышно было, как шуршат за печкой тараканы и Рябец храпит в соседней избе. Левинсон вспомнил о письме жены и, долив лампу, перечел его. Ничего нового и радостного. По-прежнему нигде не принимают на службу, продано все, что мож-

но, приходится жить за счет «Рабочего Красного Креста», у детей – цинга и малокровие. А через все – одна бесконечная забота о нем. Левинсон задумчиво пощипал бороду и стал писать ответ. Вначале ему не хотелось ворошить круг мыслей, связанных с этой стороной его жизни, но постепенно он увлекся, лицо его распустилось, он исписал два листка мелким, неразборчивым почерком, и в них много было таких слов, о которых никто не мог бы подумать, что они знакомы Левинсону.

Потом, разминая затекшие члены, он вышел во двор. В конюшне переступали лошади, сочно хрустели травой. Дневальный, обняв винтовку, крепко спал под навесом. Левинсон подумал: «Что, если так же спят часовые?..» Он постоял немного и, с трудом преодолев желание лечь спать самому, вывел из конюшни жеребца. Оседлал. Дневальный не проснулся. «Ишь сукин сын», – подумал Левинсон. Осторожно снял с него шапку, спрятал ее под сено и, вскочив в седло, уехал проверять караулы.

Придерживаясь кустов, он пробрался к поскотине.

– Кто там? – сурово окликнул часовой, брякнув затвором.

– Свои...

– Левинсон? Что это тебя по ночам носит?

– Дозорные были?

– Минут с пятнадцать один уехал.

– Нового ничего?

– Пока что спокойно... Закурить есть?..

Левинсон отсыпал ему «маньчжурки» и, переправившись через реку вброд, выехал в поле.

Глянул подслеповатый месяц, из тьмы шагнули бледные кусты, поникшие в росе. Река звенела на перекате четко – каждая струя в камень. Впереди на бугре неясно заплясали четыре конные фигуры. Левинсон свернул в кусты и затаился. Голоса слышались совсем близко. Левинсон узнал двоих: дозорные.

– А ну, обожди, – сказал он, выезжая на дорогу. Лошади, фыркнув, шарахнулись в сторону. Одна узнала жеребца под Левинсоном и тихо заржала.

– Так можно напугать, – сказал передний встревоженно-бодрым голосом. – Трр, стерва!..

– Кто это с вами? – спросил Левинсон, подъезжая вплотную.

– Осокинская разведка... японцы в Марьяновке...

– В Марьяновке? – встрепнулся Левинсон. – А где Осокин с отрядом?

– В Крыловке, – сказал один из разведчиков. – Отступили мы: бой страшный был, не удержались. Вот послали до вас, для связи. Завтра на корейские хутора уходим... – Он тяжело склонился на седле, точно жестокий груз собственных слов давил его. – Все прахом пошло. Сорок человек потеряли. За все лето убытку такого не было.

– Снимаетесь рано из Крыловки? – спросил Левинсон. – Поворачивайте назад – я с вами поеду...

...В отряд он вернулся почти днем, похудевший, с воспаленными глазами и головой, тяжелой от бессонницы.

Разговор с Осокиным окончательно подтвердил правильность принятого Левинсоном решения – уйти заблаговременно, заматаывая следы. Еще красноречивей сказал об этом вид самого осокинского отряда: он разлезался по всем швам, как старая бочка с прогнившими клепками и ржавыми обручами, по которой крепко стукнули обушком. Люди перестали слушаться командира, бесцельно слонялись по дворам, многие были пьяны. Особенно запомнился один, кудлатый и тощий, – он сидел на площади возле дороги, уставившись в землю мутными глазами, и в слепом отчаянии слал патрон за патроном в белесую утреннюю мглу.

Вернувшись домой, Левинсон тотчас же отправил свои письма по назначению, не сказав, однако, никому, что уход из села намечен им на ближайшую ночь.

VII. Враги

В первом письме к Сташинскому, отправленном еще на другой день после памятного мужицкого схода, Левинсон делился своими опасениями и предлагал постепенно разгружать лазарет, чтобы не было потом лишней обузы. Доктор перечитал письмо несколько раз, и оттого, что мигал он особенно часто, а на желтом лице все резче обозначались челюсти, каждому стало нехорошо, сумно. Будто из маленького серого пакетика, что держал Сташинский в сухих руках, выползла, шипя, смутная Левинсонова тревога и с каждой травинки, с каждого душевного донышка вспугнула уютно застоявшуюся тишь.

...Как-то сразу сломалась ясная погода, солнце зачередовало с дождем, уныло запели маньчжурские черноклены, раньше всех чувствуя дыхание недалекой осени. Старый черноклювый дятел забил по коре с небывалым ожесточением, – заскучал Пика, стал молчалив и неласков. Целыми днями бродил он по тайге, приходил усталый, неудовлетворенный. Брался за шитво – нитки путались и рвались, садился в шашки играть – проигрывал; и было у него такое ощущение, будто тянет он через тонкую соломинку гнилую болотную воду. А люди уже расходились по деревням – свертывали безрадостные солдатские узелки, – грустно улыбаясь, обходили каждого «за ручку». Сестра, осмотрев перевязки, целовала

«братишек» на последнее прощанье, и шли они, утопая во мху новенькими лапоточками, в неизвестную даль и слякоть.

Последним Варя проводила хромого.

– Прощай, братуха, – сказала, целуя его в губы. – Видишь, бог тебя любит – хороший денек устроил... Не забывай нас, бедных...

– А где он, бог-то? – усмехнулся хромой. – Нет бога-то... нет, нет, ядрена вошь!.. – Он хотел добавить еще что-то, привычно-веселое и сдобное, но вдруг, дрогнув в лице, махнул рукой и, отвернувшись, заковылял по тропинке, жутко побрякивая котелком.

Теперь из раненых остались только Фролов и Мечик, да еще Пика, который, собственно, ничем не болел, но не хотел уходить. Мечик, в новой шагреновой рубаше, сшитой ему сестрой, полусидел на койке, подмостив подушку и Пикин халат. Он был уже без повязки на голове, волосы его отросли, вились густыми желтоватыми кольцами, шрам у виска делал все лицо серьезней и старше.

– Вот и ты поправишься, уйдешь скоро, – грустно сказала сестра.

– А куда я пойду? – спросил он неуверенно и сам удивился. Вопрос выплыл впервые и породил неясные, но уже знакомые представления, – не было в них радости. Мечик поморщился. – Некуда идти мне, – сказал он жестко.

– Вот тебе и на!.. – удивилась Варя. – В отряд пойдешь, к Левинсону. Верхом ездить умеешь? Конный отряд наш...

Да ничего, научишься...

Она села рядом на койку и взяла его за руку. Мечик не глядел на нее, и мысль о том, что рано или поздно придется все-таки уйти, показалась ему ненужной сейчас, горчила, как отраву.

– А ты не бойся, – как бы поняв его, сказала Варя. – Такой красивый и молоденький, а робкий... Робкий ты, – повторила она с нежностью и, неприметно оглядевшись, поцеловала его в лоб. В ласке ее было что-то материнское. – ...Это у Шалдыбы там, а у нас ничего... – быстро зашептала она на ухо, не договаривая слов, – у него там деревенские, а у нас больше шахтеры, свои ребята – можно ладить... Ты ко мне наезжай почаще...

– А как же Морозка?

– А как же та? На карточке? – ответила она вопросом и засмеялась, отпрянув от Мечика, потому что Фролов повернул голову.

– Ну... Я уж и думать забыл... Порвал я карточку, – добавил он торопливо, – видала бумажки тогда?..

– Ну, а с Морозкой и того мене – он, поди, привык. Да он и сам гуляет... Да ты ничего, не унывай, – главное, приезжай почаще. И никому спуска не давай... сам не давай. Ребят наших бояться не нужно – это они на вид злые: палец в рот положи – откусят... А только все это не страшно – видимость одна. Нужно только самому зубы показывать...

– А ты показываешь разве?

– Мое дело женское, мне, может, этого не надо – я и на любовь возьму. А мужчине без этого нельзя... Только не сможешь ты, – добавила она, подумав. И снова, склонившись к нему, шепнула: – Может, я и люблю тебя за это... не знаю...

«А правда, несмелый я совсем, – подумал Мечик, подложив руки под голову и уставившись в небо неподвижным взглядом. – Но неужели я не смогу? Ведь надо как-то, умеют же другие...» В мыслях его, однако, не было теперь грусти – тоскливой и одинокой. Он мог уже на все смотреть со стороны – разными глазами. Происходило это потому, что в болезни его наступил перелом, раны быстро зарастали, тело крепло и наливалось. А шло это от земли – земля пахла спиртом и муравьями – да еще от Вари – глаза у нее были чуткие, как дым, и говорила она все от хорошей любви – хотелось верить.

«...И чего мне унывать в самом деле? – думал Мечик, и ему действительно казалось теперь, что нет никаких поводов к унынию. – Надо сразу поставить себя на равную ногу: спуску никому не давать... самому не давать – это она очень правильно сказала. Люди здесь другие, надо и мне как-то переломиться... И я сделаю это, – подумал он с небывалой решимостью, чувствуя почти сыновнюю благодарность к Варе, к ее словам, к хорошей ее любви. – ...Все тогда пойдет по-новому... И когда я вернусь в город, никто меня не узнает – я буду совсем другой...»

Мысли его отвлеклись далеко в сторону – к светлым, буду-

щим дням, – и были они поэтому легкие, таяли сами собой, как розово-тихие облака над таежной прогалиной. Он думал о том, как вместе с Варей вернется в город в качающемся вагоне с раскрытыми окнами, и будут плыть за окном такие же розово-тихие облака над далекими мреющими хребтами. И будут они двое сидеть у окна, прижавшись друг к другу: Варя говорит ему хорошие слова, а он гладит ее волосы, и косы у нее будут совсем золотые, как полдень... И Варя в его мечтах тоже не походила на сутулую откатчицу из шахты № 1, потому что все, о чем думал Мечик, было не настоящее, а такое, каким он хотел бы все видеть.

...Через несколько дней пришло из отряда второе письмо, – привез его Морозка. Он натворил большого переполюху – ворвался из тайги с визгом и гиком, вздыбливая жеребца и крича что-то несуразное. Сделал же он это от избытка жизненных сил и... просто «для смеху».

– Носит тебя, дьявола, – сказал перепуганный Пика с певучей укоризной. – Тут человек умирает, – кивнул он на Фролова, – а ты орешь...

– А-а... отец Серафим! – приветствовал его Морозка. – Наше вам – сорок одно с кисточкой!..

– Я тебе не отец, а зовут меня Ф-федором... – озлился Пика. Последнее время он часто сердился, – делался смешным и жалким.

– Ничего, Федосей, не пузырься, не то волосы вылезут... Супруге – почтение! – откланялся Морозка Варе, снимая

фуражку и надевая ее на Пикину голову. – Ничего, Федосей, фуражка тебе к лицу. Только ты штанишки подбирай, не то висят, как на пугале, оч-чень неинтеллигентно!

– Что – скоро нам удочки сматывать? – спросил Сташинский, разрывая конверт. – Зайдешь потом в барак за ответом, – сказал, пряча письмо от Харченки, который с опасностью для жизни вытягивал шею из-за его плеча.

Варя стояла перед Морозкой, перебирая передник и впервые испытывая неловкость при встрече с мужем.

– Чего не был давно? – спросила наконец с деланным равнодушием.

– А ты небось скучала? – переспросил он насмешливо, чувствуя ее непонятную отчужденность. – Ну, ничего, теперь наладуешься – в лес вот пойдем... – Он помолчал и добавил едко: – Страдать...

– Тебе только и делов, – ответила она сухо, не глядя на него и думая о Мечике.

– А тебе?.. – Морозка выжидательно поиграл плетью.

– И мне не впервой, чать не чужие...

– Так идем?.. – сказал он осторожно, не двигаясь с места.

Она опустила передник и, запрокинув косы, пошла вперед по тропинке небрежной деланной походкой, удерживаясь, чтобы не оглянуться на Мечика. Она знала, что он смотрит вслед жалким, растерянным взглядом и никогда не поймет, даже потом, что она исполняет только скучную обязанность.

Она ждала, что вот-вот Морозка обнимет ее сзади, но он не приближался. Так шли они довольно долго, сохраняя расстояние и молча. Наконец она не выдержала и остановилась, взглянув на него с удивлением и ожиданием. Он подошел ближе, но так и не взял ее.

– Что-то финтишь ты, девка... – сказал вдруг хрипло и с расстановкой. – Влипла уже, что ли?

– А ты что – спрос? – Она подняла голову и посмотрела на него в упор – строптиво и смело.

Морозка знал и раньше, что она гуляет в его отсутствие так же, как гуляла в девках. Он знал это еще с первого дня совместной жизни, когда пьяным утром проснулся с головной болью, в груди тел на полу, и увидел, что его молодая и законная жена спит в обнимку с рыжим Герасимом – зарубщиком из шахты № 4. Но – как и тогда, так и во всей последующей жизни – он относился к этому с полным безразличием. По сути дела, он так и не вкусил подлинной семейной жизни и сам никогда не чувствовал себя женатым человеком. Но мысль, что любовником его жены может быть такой человек, как Мечик, показалась ему сейчас очень обидной.

– В кого же это ты, желательно бы узнать? – спросил он нарочито вежливо, выдерживая ее взгляд с небрежной и спокойной усмешкой: он не хотел показывать обиды. – В этого, маминого, что ли?

– А хоть бы и в маминого...

– Да он ничего – чистенький, – согласился Морозка. – По-

слаже будет. Ты ему платков нашей – сопли утирать.

– Если надо будет, и нашью и утру... сама утру! слышишь? – Она приблизила лицо вплотную и заговорила быстро и возбужденно: – Ну, чего ты храбришься, что толку в личности твоей? За три года ребенка не сделал – только языком трепишься, а туда же... Богатырь шиновый!..

– Заделаешь тебе, как же, ежели тут целый взвод работает... Да ты не кричи, – оборвал он ее, – не то...

– Ну, что – «не то»?.. – сказала она вызывающе. – Может, бить будешь?.. А ну, попробуй, посмотрю я...

Он удивленно приподнял плетку, словно мысль эта явилась для него неожиданным откровением, и снова опустил.

– Нет, бить я не стану... – сказал неуверенно и с сожалением, будто раздумывая еще, не вздуть ли в самом деле. – Оно и следовало бы, да не привык я бить вашего брата. – В голосе его скользнули незнакомые ей нотки. – Ну, да что ж – живи. Может, барыней будешь... – Он круто повернул и зашагал к барaku, на ходу сбивая плетью цветочные головки.

– Слушай, обожди!.. – крикнула она, вдруг переполняясь жалостью. – Ваня!..

– Не надо мне барских объедков, – сказал он резко. – Пушай моими пользуются...

Она заколебалась, бежать ли за ним или нет, и не побежала. Выждала, пока он скроется за поворотом, и тогда, обливая высохшие губы, медленно пошла вслед.

Завидев Морозку, слишком скоро вернувшегося из тайги

(ординарец шел, сильно размахивая руками, с тяжелым хмурым развальцем), Мечик понял, что у Морозки с Варей «ничего не вышло», и причиной этому – он, Мечик. Неловкая радость и чувство беспричинной виновности ненужно шевельнулись в нем, и стало страшно встретиться с Морозкиным истребляющим взглядом...

У самой койки с хрустом пощипывал травку мохнатый жеребчик: казалось, ординарец идет к нему, на самом деле темная перекошенная сила влекла его к Мечику, но Морозка скрывал это даже от себя, полный неутолимой гордости и презрения. С каждым его шагом чувство виновности в Мечике росло, а радость улетучивалась, он смотрел на Морозку малодушными, уходящими внутрь глазами и не мог оторваться. Ординарец схватил жеребца под уздцы, тот оттолкнул его мордой, повернув к Мечику будто нарочно, и Мечик захлебнулся внезапно чужим и тяжелым, мутным от ненависти взглядом. В эту короткую секунду он чувствовал себя так униженно, так невыносимо гадко, что вдруг заговорил одними губами, без слов – слов у него не было.

– Сидите тут в тылу, – с ненавистью сказал Морозка в такт своим темным мыслям, не желая вслушиваться в беззвучные пояснения Мечика. – Рубахи шагреновые понадевали...

Ему стало обидно, что Мечик может подумать, будто злоба его вызвана ревностью, но он сам не признавал ее истинных причин и выругался длинно и скверно.

– Чего ты ругаешься? – вспыхнув, переспросил Мечик,

почувствовав непонятное облегчение после того, как Морозка выругался. – У меня ноги перебиты, а не – в тылу... – сказал он с гневной самолюбивой дрожью и горечью. В эту минуту он верил сам, что ноги у него перебиты, и вообще чувствовал себя так, словно не он, а Морозка носит шагреновые рубахи. – Мы тоже знаем таких фронтовиков, – добавил, краснея, – я б тебе тоже сказал, если бы не был тебе обязан... на свое несчастье...

– Ага-а... заело? – чуть не подпрыгнув, завопил Морозка, по-прежнему не слушая его и не желая понимать его благородства. – Забыл, как я тебя из полымя вытащил?... Таскаем мы вас на свою голову!.. – закричал он так громко, словно каждый день таскал «из полымя» раненых, как каштаны, – на св-вою голову!.. вот вы где у нас сидите!.. – И он ударил себя по шее с невероятным ожесточением.

Сташинский и Харченко выскочили из барака. Фролов повернул голову с болезненным удивлением.

– Вы что кричите? – спросил Сташинский, с жуткой быстротой мигая одним глазом.

– Совесть моя где?! – кричал Морозка в ответ на вопрос Мечика, где у него совесть. – Вот она где, совесть, – вот, вот! – рубил он с остервенением, делая неприличные жесты. Из тайги, с разных сторон, бежали сестра и Пика, крича что-то наперерыв, Морозка вскочил на жеребца и сильно вытянул его плетью, что случилось с ним только в минуты величайшего возбуждения. Мишка взвился на дыбы и прыгнул в

сторону как ошпаренный.

– Обожди, письмо захватишь!.. Морозка!.. – растерянно крикнул Сташинский, но Морозки уже не было. Из потревоженной чащи доносился бешеный топот удалявшихся копыт.

VIII. Первый ход

Дорога бежала навстречу, как бесконечная упругая лента, ветви больно хлестали Морозку по лицу, а он все гнал и гнал очумевшего жеребца, полный неистовой злобы, обиды, мщения. Отдельные моменты нелепого разговора с Мечиком – один хлеще другого – вновь и вновь рождались в разгоряченном мозгу, и все же Морозке казалось, что он недостаточно крепко выразил свое презрение к подобным людям.

Он мог бы, например, напомнить Мечику, как тот жадными руками цеплялся за него на ячменном поле, как в обезумевших его глазах бился комнатный страх за свою маленькую жизнь. Он мог бы жестоко высмеять любовь Мечика к кудрявой барышне, портрет которой, может, еще хранится у него в кармане пиджака, возле сердца, и надарить эту красивую, чистенькую барышню самыми паскудными именами... Тут он вспомнил, что Мечик ведь «спутался» с его женой и навряд ли оскорбится теперь за чистенькую барышню, и вместо злорадного торжества над унижением противника Морозка снова чувствовал *свою* непоправимую обиду.

...Мишка, разобиженный вконец несправедливостью хозяина, бежал до тех пор, пока в натруженных губах не ослабели удила; тогда он замедлил ход и, не слыша новых понуканий, пошел показно-быстрым шагом, совсем как человек, оскорбленный, но не теряющий собственного достоинства.

Он не обращал внимания даже на соек, – они слишком много кричали в этот вечер, но, как всегда, попусту, и больше обычного казались ему суетливыми и глупыми.

Тайга расступилась вечерней березовой опушкой, и в редкие ее просветы, прямо в лицо, било солнце. Здесь было уютно, прозрачно, весело, – так непохоже на соечью людскую суету. Гнев Морозки остыл. Обидные слова, которые он сказал или хотел сказать Мечiku, давно утратили мстительно-яркое оперение, предстали во всей своей общипанной неприглядности: они были ненужно-крикливы и легковесны. Он сожалел уже, что связался с Мечиком – не «выдержал марку» до конца. Он чувствовал теперь, что Варя вовсе не так безразлична ему, как это казалось раньше, и вместе с тем твердо знал, что никогда уже не вернется к ней. И оттого, что Варя была наиболее близким человеком, который связывал его с прежней жизнью на руднике, когда он жил, «как все», когда все казалось ему простым и ясным, – теперь, расставшись с ней, он испытывал такое чувство, точно эта большая и цельная полоса его жизни завершилась, а новая еще не началась.

Солнце заглядывало Морозке под козырек – оно еще стояло над хребтом бесстрастным, немигающим глазом, но поля вокруг были тревожно-безлюдны.

Он видел неубранные ячменные снопы на недожатых полосах, бабий передник, забытый второпях на суслоне¹, грабли, комлем воткнутые в межу. На покривившемся стогу уны-

¹ Суслон – составленные на жнивье снопы. (Примеч. А. Фадеева.)

ло, по-сиротски, примостилась ворона и молчала. Но все это проплывало мимо сознания. Морозка разворошил давнишнюю слежавшуюся пыль воспоминаний и обнаружил, что это совсем не веселый, а очень безрадостный, проклятый груз. Он почувствовал себя заброшенным и одиноким. Казалось, он сам плывет над огромным вымороченным полем, и тревожная пустота последнего только сильнее подчеркивала его одиночество.

Очнулся он от дробного конского топота, внезапно вырвавшегося из-за бугра. Едва вскинул голову – перед ним выросла стройная, перетянутая в поясе фигурка дозорного на глазастой бедовой лошадке, – от неожиданности она так и села на задние ноги.

– Ну, ты-ы, коблѳ, вот коблѳ!.. – выругался дозорный, поймав на лету сбитую толчком фуражку. – Морозка, что ли? Вали скорей до дому, до дому вали: там у нас такое – не разбери-поймешь, ей-богу...

– А что?

– Да дезертиры тут прошли, наговорили цельный воз, цельный воз – японцы-де вот-вот будут! Мужики с поля, бабы в рев, бабы в рев... Нагнали у парома телег, что твой базар – потеха!.. Мало паромщика не убили, доси поди всех не переправил – нет, не переправил!.. А Гришка наш сгонял верст за десять – японцев и слыхом не слыхать, не слыхать – брехня. Набрехали, суки!.. Стрелять за такие дела – и то патронов жалко, и то жалко, ей-богу... – Дозорный брызгал

слуюной, размахивал плетью и то снимал, то надевал фуражку, лихо потряхивая кудерьками, словно, помимо всего прочего, хотел еще сказать: «Смотри, дорогой, как девки меня любят».

Морозка вспомнил, как месяца два тому назад этот парень украл у него жестяную кружку, а после божился, что она у него «еще с германского фронта». Кружки было не жаль теперь, но воспоминание это – сразу, быстрее слов дозорного, которого Морозка не слушал, занятый своим, – втокнуло его в привычную колею отрядной жизни. Срочная эстафета, приезд Канунникова, отступление Осокина, слухи, которыми питался отряд последнее время, – все это хлынуло на него тревожной волной, смывая черную накипь прошедшего дня.

– Какие дезертиры, чего ты трепишься? – перебил он дозорного. Тот удивленно приподнял бровь и застыл с занесенной фуражкой, которую только что снял и снова собирался надеть. – Тебе бы только фасон давить, жень с ручкой! – презрительно сказал Морозка; сердито дернул под уздцы и через несколько минут был уже у парома.

Волосатый паромщик, с подвернутой штаниной, с огромным чирьем на колене, и впрямь замучился, гоня перегруженный паром взад и вперед, и все же многие еще толпились на этой стороне. Едва паром приставал к берегу, на него обрушивалась целая лавина людей, мешков, телег, голосивших ребят, люлек – каждый старался поспеть первым; все это толкалось, кричало, скрипело, падало, – паромщик, потеряв го-

лос, напрасно раздирал глотку, стараясь водворить порядок. Курносая баба, успевшая лично поговорить с дезертирами, терзаемая неразрешимым противоречием между желанием скорее попасть домой и досказать свои новости остающимся, – в третий раз опаздывала на паром, тыкала вслед громадным, больше себя, мешком с ботвой для свиней и то молила: «Господи, господи», то снова принималась рассказывать, чтобы опоздать в четвертый раз.

Морозка, попав в эту сумятицу, хотел было, по старой привычке («для смеху»), попугать еще сильнее, но почему-то раздумал и, соскочив с лошади, принялся успокаивать.

– И охота брехать тебе, никаких там японцев нету, – перебил вконец осатаневшую бабу, – расскажет тоже: «Га-азы пушают...» Какие там газы? Корейцы, может, солому палили, а ей – га-азы...

Мужики, забыв про бабу, обступили его, – он вдруг почувствовал себя большим, ответственным человеком и, радуясь необычной своей роли и даже тому, что подавил желание «попугать», – до тех пор опровергал и высмеивал рассказы дезертиров, пока окончательно не расхолодил собравшихся. Когда причалил следующий паром, не было уже такой давки. Морозка сам направлял подводы по очереди, мужики севали, что рано уехали с поля, и, в досаде на себя, ругали лошадей. Даже курносая баба с мешком попала наконец в чью-то телегу между двумя конскими мордами и широким мужичьим задом.

Морозка, перегнувшись через перила, смотрел, как бегут меж лодок белые кружочки пены – ни один не обгонял другого, – их естественный порядок напомнил ему, как сам он только что организовал мужиков; напоминание это было приятно.

У поскотины он встретил дозорную смену – пятерых ребят из взвода Дубова. Они приветствовали его смехом и добродушной матерщиной, потому что всегда были рады его видеть, а говорить им было не о чем, и потому еще, что все это были здоровые и крепкие ребята, а вечер наступал прохладный, бодрый.

– Катись колбаской!.. – проводил их Морозка и с завистью посмотрел вслед. Ему захотелось быть вместе с ними, с их смехом и матерщиной – вместе мчаться в дозор прохладным и бодрым вечером.

Встреча с партизанами напомнила Морозке, что, уезжая из госпиталя, он не захватил письма Сташинского, а за это может попасть. Картина сходки, когда он чуть не вылетел из отряда, внезапно встала перед глазами, и сразу что-то защемило. Морозка только теперь почувствовал, что это событие было, может, самым важным для него за последний месяц – гораздо важнее того, что произошло в госпитале.

– Михрютка, – сказал он жеребцу и взял его за холку. – Надоело мне все, браток, до бузовой матери... – Мишка мотнул головой и фыркнул.

Подъезжая к штабу, Морозка принял твердое решение

«наплевать на все» и отпроситься во взвод к ребятам, сложив с себя обязанности ординарца.

На крыльце у штаба Бакланов допрашивал дезертиров, — они были безоружны и под охраной. Бакланов, сидя на ступеньке, записывал фамилии.

— Иван Филимонов... — лепетал один жалобным голосом, изо всех сил вытягивая шею.

— Как?.. — грозно переспрашивал Бакланов, поворачиваясь к нему всем туловищем, как это делал обычно Левинсон. (Бакланов думал, что Левинсон поступает так, желая подчеркнуть особую значительность своих вопросов, на самом же деле Левинсон поворачивался так потому, что когда-то был ранен в шею и иначе вообще не мог повернуться.)

— Филимонов?.. Отчество!..

— Левинсон где? — спросил Морозка. Ему кивнули на дверь. Он поправил чуб и вошел в избу.

Левинсон занимался за столом в углу и не заметил его. Морозка в нерешительности поиграл плеткой. Как и всем в отряде, командир казался Морозке необыкновенно правильным человеком. Но так как жизненный опыт подсказывал ему, что правильных людей не существует, то он старался убедить себя, что Левинсон, наоборот, — величайший жулик и «себе на уме». Тем не менее он тоже был уверен, что командир «все видит наскрозь» и обмануть его почти невозможно: когда приходилось просить о чем-либо, Морозка испытывал странное недоумение.

– А ты все в бумагах возишься, как мыша, – сказал он наконец. – Отвез я пакет в полной исправности.

– Ответа нет?

– Не-ету...

– Ладно. – Левинсон отложил карту и встал.

– Слушай, Левинсон... – начал Морозка. – У меня просьба к тебе... Сполнишь – вечным другом будешь, правда...

– Вечным другом? – с улыбкой переспросил Левинсон. – Ну, говори, что там за просьба.

– Пусти меня во взвод...

– Во взво-од?.. С чего это тебе приспичило?

– Да долго рассказывать – очертело мне, поверь совести... Точно и не партизан я, а так... – Морозка махнул рукой и нахмурился, чтобы не выругаться и не испортить дела.

– А кто же ординарцем?

– Да Ефимку можно приспособить, – уцепился Морозка. – Ох, и ездок, скажу тебе, – в старой армии призы брал!

– Так говоришь, вечным другом? – снова переспросил Левинсон таким тоном, точно это соображение могло иметь как раз решающее значение.

– Да ты не смейся, холера чертова!.. – не выдержал Морозка. – К нему с делом, а он хаханьки...

– А ты не горячись. Горячиться вредно... Скажешь Дубову, чтоб прислал Ефимку, и... можешь отправляться.

– Вот эт-то удружил, вот удружил!.. – обрадовался Морозка. – Вот поставил марку... Левинсон... эт-то н-номер!.. –

Он сорвал с головы фуражку и хлопнул ею об пол.

Левинсон поднял фуражку и сказал:

– Дура.

...Морозка приехал во взвод – уже стемнело. Он застал в избе человек двенадцать. Дубов, сидя верхом на скамейке, при свете ночника разбирал наган.

– А-а, нечистая кровь... – пробасил он из-под усов. Увидев сверток в руках Морозки, удивился. – Ты чего это со всеми причиндалами? Разжаловали, что ли?

– Шабаш! – закричал Морозка. – Отставка!.. Перо в зад, без пенсии... Снаряжай Ефимку – командир приказывает...

– Видно, ты удружил? – едко спросил Ефимка, сухой и желчный парень, заросший лишаями.

– Вали, вали – там разберемся... Одним словом – с повышением, Ефим Семенович!.. Магарыч с вас...

От радости, что снова находится среди ребят, Морозка сыпал прибаутками, дразнился, щипал хозяйку, крутился по избе, пока не налетел на взводного и не опрокинул ружейного масла.

– Калека, вертило немазаное! – выругался Дубов и хлопнул его по спине так, что Морозкина голова мало не отделилась от туловища.

И хоть было очень больно, Морозка не обиделся – ему даже нравилось, как ругается Дубов, употребляя свои, никому не известные слова и выражения: все здесь он принимал как должное.

– Да... пора, пора уж... – говорил Дубов. – Это хорошо, что ты снова к нам присмыкнулся. А то испохабел вовсе – заржавел, как болт неприткнутый, из-за тебя срам...

Все соглашались с тем, что это хорошо, но по другой причине: большинству нравилось в Морозке как раз то, что не нравилось Дубову.

Морозка старался не вспоминать о поездке в госпиталь. Он очень боялся, что кто-нибудь спросит: «А как жинка твоя поживает?..»

Потом вместе со всеми он ездил на реку поить лошадей... Глухо, нестрашно кричали в забое сычи, в тумане над водой расплывались конские головы, тянулись молча, насторожив уши; у берега ежились темноликие кусты в холодной медвяной росе. «Вот это жизнь...» – думал Морозка и ласково подсвистывал жеребцу.

Дома чинили седла, протирали винтовки; Дубов читал вслух письма с рудника, а ложась спать, назначил Морозку дневальным «по случаю возвращения в Тимофеево лоно».

Весь вечер Морозка чувствовал себя исправным солдатом и хорошим, нужным человеком.

Ночью Дубов проснулся от сильного толчка в бок.

– Что? что?.. – спросил испуганно и сел. Не успел продрать глаза на тусклый ночничок – услышал, вернее, почувствовал, отдаленный выстрел, через некоторое время другой.

У кровати стоял Морозка, кричал:

– Вставай скорей! Стреляют за рекой!..

Редкие одиночные выстрелы следовали один за другим с почти правильными промежутками.

– Буди ребят, – распорядился Дубов, – сейчас же крой по всем халупам... Скоро!..

Через несколько секунд в полном боевом снаряжении он выскочил во двор. Небо расступилось – безветренно-холодное. По мглистым нехоженным тропам Млечного Пути в смятении бежали звезды. Из темной дыры сеновала выскакивали – один за другим – взъерошенные партизаны, ругаясь, застегивая на ходу патронташи, выводили лошадей. С насестов с неистовым кудахтаньем летели куры, лошади бились и ржали.

– В ружье!.. по коням! – командовал Дубов. – Митрий, Сеня!.. Бежите по хатам, будите людей... Скоро!..

С площади у штаба взвилась динамитная ракета и покати-лась по небу с дымным шипеньем. Сонная баба высунулась в окно и быстро нырнула обратно.

– Завязывай... – сказал кто-то упавшим в дрожи голосом.

Примчавшийся из штаба Ефимка кричал в ворота:

– Тревога!.. Все на сборное место в полном готове!.. – Взметнул над венцом оскаленной лошадиной пастью и, крикнув еще что-то непонятное, исчез.

Когда вернулись посланные, оказалось, что больше половины взвода не ночует дома: с вечера ушли на гулянку и, видно, остались у девчат. Растерявшийся Дубов, не зная –

выступать ли с наличным составом или съездить в штаб самому узнать, в чем дело, — ругаясь в бога и священный синод, послал во все концы разыскивать поодиночке. Два раза приезжали ординарцы с приказом немедленно прибыть всем взводом, а он все не мог найти людей, метался по двору, как пойманный зверь, готов был в отчаянии пустить себе пулю в лоб и, может быть, пустил бы, если б не чувствовал все время своей тяжелой ответственности. Многие в эту ночь пострадали от его безжалостных кулаков.

Наконец, напутствуемый надрывным собачьим воем, взвод ринулся к штабу, наполняя придавленные страхом улицы бешеным конским топотом и звоном стали.

Дубов очень удивился, застав весь отряд на площади. Вдоль по главному тракту вытянулся готовый в путь обоз, — многие, спешившись, сидели возле лошадей и курили. Он отыскал глазами маленькую фигурку Левинсона, тот стоял возле освещенных факелом бревен и спокойно разговаривал с Метелицей.

— Что ж ты так поздно? — набросился Бакланов. — А говоришь еще: «Мы-ы... шахте-еры...» — Он был вне себя, иначе никогда бы не сказал Дубову подобной фразы. Взводный только рукой махнул. Самым обидным для него было сознание, что этот вот молодой парень Бакланов имеет теперь законное право всячески хулить его, но даже хула та не будет достойной платой за его, Дубова, вину. Кроме того, Бакланов уязвил его в самое больное место: в глубине души Дубов по-

лагал, что звание шахтера самое высокое и почетное, какое только может носить человек на земле. Теперь он был уверен, что его взвод опозорил и себя, и Сучанский рудник, и все шахтерское племя, по крайней мере, до седьмого колена.

Изругавшись вволю, Бакланов уехал снимать дозоры. От пятерых ребят, вернувшихся из-за реки, Дубов узнал, что никакого неприятеля нет, а стреляли они «в белый свет, как в копейку», по приказанию Левинсона. Он понял тогда, что Левинсон хотел проверить боевую готовность отряда, и ему стало еще горше от сознания, что он не оправдал доверия командира, не стал примером для других.

Когда взводы построились и сделали перекличку, обнаружилось, что многих все же недостает. Особенно много дезертиров оказалось у Кубрака. Сам Кубрак ездил днем прощаться с родней и до сих пор не протрезвился. Несколько раз он обращался к своему взводу с речью – «могут ли его уважать, если он такой подлец и свинья», – и плакал. И весь отряд видел, что Кубрак пьян. Только Левинсон будто не замечал этого, иначе пришлось бы снять Кубрака с должности, а его нечем было заменить.

Левинсон проехал по строю и, вернувшись на середину, поднял руку. Она повисла холодно и строго. Слышны стали тайные ночные шумы.

– Товарищи... – начал Левинсон, и голос его, негромкий, но внятный, был услышан каждым, как биение своего сердца. – Мы уходим отсюда... куда – этого не стоит сейчас го-

ворить. Японские силы – хотя их не нужно преувеличивать – все же такие, что нам лучше укрыться до поры, до времени. Это не значит, что мы совсем уходим от опасности. Нет. Она постоянно висит над нами, и каждый партизан об этом знает. Оправдываем ли мы свое партизанское звание?.. Сегодня никак не оправдали... Мы распустились, как девочки!.. Ну что, если бы на самом деле были японцы?.. Да они ведь пере-душили б нас, как цыплят!.. Срам!.. – Левинсон быстро пере-гнулся вперед, и последние его слова хлестнули сразу раз-вернутой пружиной так, что каждый вдруг почувствовал се-бя захваченным врасплах цыпленком, которого душат в тем-ноте неумолимые железные пальцы.

Даже ничего не понявший Кубрак сказал убежденно:

– Правильно... Все это... правильно... – Крутнул квад-ратной головой и громко икнул.

Дубов ждал с минуты на минуту, что Левинсон скажет: «Вот, например, Дубов – он пришел сегодня к шапочному разбору, а ведь я надеялся на него больше всех, – срам!..» Но Левинсон никого не упомянул по имени. Он вообще говорил немного, но упорно бил в одно место, будто вколачивал мас-сивный гвоздь, которому предстоит служить на вечные вре-мена. Только убедившись, что слова его дошли по назначе-нию, он посмотрел в сторону Дубова и неожиданно сказал:

– Дубова взвод пойдет с обозом... Уж больно пряткий... – вытянулся на стремянах и, взмахнув плетью, скомандовал: – Сми-и-рно... справа по три... а-а-арш!..

Согласно брякнули мундштуки, шумно скрипнули седла, и, колыхаясь в ночи, как огромная в омуте рыба, густая вереница людей поплыла туда, где из-за древних сихотэ-алиньских отрогов – такой же древний и молодой – вздымался рас-свет.

IX. Мечик в отряде

Сташинский узнал о выступлении от помощника начхоза, прибывшего в лазарет заготавливать продовольствие.

– Он, Левинсон-то, смекалистый, – говорил помощник, подставляя солнцу выцветшую горбатую спину. – Без его мы бы все пропали... Вот и здесь рассуди: дорогу в лазарет никто не знает, в случае чего загонят нас – мы сюда всем отрядом шасть!.. И поминай, как нас звали... а уж тут и провиант и фураж припасены. Ло-овко придумано!.. – Помощник в восхищении крутил головой, и Сташинский видел, что хвалит он Левинсона не только потому, что тот на самом деле «смекалистый», а еще из приятности, которую доставляет помощнику приписывание другому человеку не свойственных ему самому хороших качеств.

В этот же день Мечик впервые встал на ноги. Поддерживаемый под руки, прошелся по лужайке, удивленно-радостно ощущая упругий дерн под ногами, и беспричинно смеялся. А после, лежа на койке, чувствовал неугомонное биение сердца не то от усталости, не то от этого радостного ощущения земли. Ноги еще дрожали от слабости, и по всему телу бродил веселый, прыгающий зуд.

Пока Мечик гулял, на него с завистью смотрел Фролов, и Мечик никак не мог перебороть чувства какой-то вины перед ним. Фролов болел уже так долго, что исчерпал все со-

страдание окружающих. В их непрременной ласке и заботливости он слышал постоянный вопрос: «Когда же ты все-таки умрешь?» – но умирать не хотел. И видимая нелепость его цепляний за жизнь давила всех, как могильная плита.

До последнего дня пребывания Мечика в госпитале между ним и Варей тянулись странные отношения, похожие на игру, где каждый знал, чего хочет одна и боится другой, но ни один не решался сделать смелый, исчерпывающий ход.

За трудную и терпеливую свою жизнь, где мужчин было так много, что невозможно было отличить их по цвету глаз, волос, даже по именам, – Варя ни одному не могла сказать: «желанный, любимый». Мечик был первый, которому она вправе была – и сказала эти слова. Ей казалось, что только он, такой красивый, скромный и нежный, способен удовлетворить ее тоску материнства и что полюбила она его именно за это. В тревожной немоте она звала его по ночам, искала каждый день неутолимо, жадно, стараясь увести от людей, чтобы подарить свою позднюю любовь, но никогда не решалась почему-то сказать этого прямо.

И хоть Мечику хотелось того же со всем пылом и воображением только что созревшей юности, он упорно избегал оставаться с ней наедине – то таскал за собой Пику, то жаловался на нездоровье. Он робел потому, что никогда не был близок с женщиной; ему казалось, что это выйдет у него не так, как у людей, а очень стыдно. Если же удавалось преодолеть робость, перед ним вставала вдруг гневная фигура Мо-

розки, как он идет из тайги, размахивая плетью, и Мечик испытывал тогда смесь страха и сознания своего неоплатного долга перед этим человеком.

В этой игре он похудел и вырос, но так до последней минуты и не превозмог слабости. Ушли они вместе с Пикой, неловко простившись со всеми, словно с чужими. Варя нагнала их на тропе.

– Давай уж хоть простимся как следует, – сказала, зардевшись от бега и смущения. – Там я постеснялась как-то... никогда этого не было, а тут постеснялась, – и виновато сунула ему вышитый кисет, как делали все молодые девушки на руднике.

Ее смущение и подарок так не вязались с ней, – Мечику стало жаль ее и стыдно перед Пикой, он едва коснулся ее губами, а она смотрела на него последним дымчатым взглядом, и губы ее кривились.

– Смотри же, наезжай!.. – крикнула она, когда они уже скрылись в чаще. И, не слыша ответа, тут же, опустившись в траву, заплакала.

Дорогой, оправившись от грустных воспоминаний, Мечик почувствовал себя настоящим партизаном, даже подвернул рукава, желая загореть: ему казалось, что это очень необходимо в той новой жизни, которую он начал после памятного разговора с сестрой.

Устье Ирохедзы было занято японскими войсками и колчаковцами. Пика трусил, нервничал, жаловался всю дорогу

на несуществующие боли. Мечик никак не мог уговорить его обойти село долиной. Пришлось карабкаться по хребтам, по неизвестным козьим проторям. Они спустились к реке на вторую ночь скалистыми кручами, едва не убившись, – Мечик еще нетвердо чувствовал себя на ногах. Почти к утру попали в корейскую фанзу; жадно глотали чумизу без соли, и, глядя на истерзанную, жалкую фигуру Пики, Мечик никак не мог восстановить пленявший его когда-то образ тихого и светлого старичка над тихим камышовым озером. Раздавленным своим видом Пика как бы подчеркивал непрочность и лживость этой тишины, в которой нет отдыха и спасения.

Потом шли редкими хуторами, где никто не слыхал о японцах. На вопрос – проходил ли отряд? – им указывали в верховья, расспрашивали новости, поили медовым квасом, девки заглядывались на Мечика. Началась уже бабья страда. Дороги тонули в густой колосистой пшенице, росились по утрам опустевшие паутины, и воздух был полон пчелиного предосенне-жалобного гуда.

В Шибиши они пришли под вечер; деревушка стояла под лесистой горой, на пригреве, – закатное солнце било с противоположной стороны. У дряхлой, заросшей грибами часовенки группа веселых, горластых парней с красными бантами во всю фуражку играла в городки. Только что пробил маленький человечек, в высоких ичигах и с рыжей, длинным клином, бородой, похожий на гнома, каких рисуют в детских сказках, – позорно промахнув все палки. Над ним смеялись.

Человечек конфузливо улыбался, но так, что все видели, что ему нисколько не конфузно, а тоже очень весело.

– Вот он, Левинсон-то, – сказал Пика.

– Где?

– Да вон – рыжий... – Бросив недоумевающего Мечика, Пика с неожиданной, бесовской прытью посеменил к маленькому человечку.

– Глянь, ребята, – Пика!..

– Пика и есть...

– Приплелся, черт лысый!..

Парни, побросав игру, обступили старика. Мечик остался в стороне, не зная – подойти или ждать, пока позовут.

– Кто это с тобой? – спросил наконец Левинсон.

– А парень один с госпиталя... ха-роший парень!..

– Раненый это, что Морозка привез, – вставил кто-то, узнав Мечика. Тот, услышав, что говорят о нем, подошел ближе.

У маленького человечка, так плохо игравшего в городки, оказались большие и ловкие глаза, – они схватили Мечика и, вывернув его наизнанку, подержали так несколько мгновений, будто взвешивали все, что там оказалось.

– Вот пришел к вам в отряд, – начал Мечик, краснея за свои засученные рукава, которые забыл отвернуть. – Раньше был у Шалдыбы... до ранения, – добавил для вескости.

– А у Шалдыбы с каких пор?

– С июня – так, с середины...

Левинсон снова окинул его пытливым, изучающим взглядом.

– Стрелять умеешь?

– Умею... – неуверенно сказал Мечик.

– Ефимка... Принеси драгунку...

Пока бегали за винтовкой, Мечик чувствовал, как щупают его со всех сторон десятки любопытных глаз, немое упорство которых он начинает принимать за враждебность.

– Ну вот... Во что бы тебе выстрелить? – Левинсон искал глазами.

– В крест! – радостно предложил кто-то.

– Нет, в крест не стоит... Ефимка, поставь городок на столб, вон туда...

Мечик взял винтовку и едва не зажмурился от жуты, которая им овладела (не потому, что нужно было стрелять, а потому, что казалось, будто все хотят его промаха).

–левой рукой поближе возьми – легче так, – посоветовал кто-то.

Эти слова, сказанные с явным сочувствием, много помогли Мечику. Осмелев, он надавил курок и в грохоте выстрела – тут он все-таки зажмурился – успел заметить, как городок слетел со столба.

– Умеешь... – засмеялся Левинсон. – С лошастью обращаться приходилось?

– Нет, – сознался Мечик, готовый после такого успеха принять на себя даже чужие грехи.

– Жаль, – сказал Левинсон. Видно было, что ему действительно жаль. – Бакланов, дашь ему Зючиху. – Он лукаво прищурился. – Береги ее, лошадь безобидная. Как беречь, взводный научит... В какой взвод мы его направим?

– Я думаю, к Кубраку – у него недостача, – сказал Бакланов. – Вместе с Пикой будут.

– И то... – согласился Левинсон. – Вали.

...Первый же взгляд на Зючиху заставил Мечика забыть свою удачу и вызванные ею мальчишески-гордые надежды. Это была слезливая, скорбная кобыла, грязно-белого цвета, с продавленной спиной и мякинным брюхом – покорная крестьянская лошадка, испавшая в своей жизни не одну десятину. Вдобавок ко всему она была жеребой, и странное ее прозвище пристало к ней, как к шепелявой старухе господне благословение.

– Это мне, да?.. – спросил Мечик упавшим голосом.

– Лошадь неказистая, – сказал Кубрак, хлопнув ее по задку. – Копыта у ее слабые – не то, сказать, от воспитания, не то от болезненного отношения... Ездить, однако, можно... – Он повернул к Мечику квадратную, в седоватом ежике, голову и повторил с тупой убежденностью: – Можно ездить...

– Разве других у вас нет? – спросил Мечик, сразу проникаясь бессильной ненавистью к Зючихе и к тому, что на ней можно ездить.

Кубрак, не ответив, принялся скучно и монотонно рассказывать, что должен делать Мечик утром, в обед и вечером с

этой обшарпанной кобылой, чтобы уберечь ее от неисчисли-
мых опасностей и болезней.

– Вернулся с походу – сразу не расседлывай, – поучал
взводный, – пущай постоит, остынет. А как только рассед-
лал, вытри ей спину ладошкой или сеном, и перед тем как
седлать, тоже вытирай...

Мечик с дрожью в губах смотрел куда-то поверх лошади
и не слушал. Он чувствовал себя так, словно эту обидную
кобылу с разляпанными копытами дали ему нарочно, что-
бы унижить с самого начала. Последнее время всякий свой
поступок Мечик рассматривал под углом той новой жизни,
которую он должен был начать. И ему казалось теперь, что
не может быть речи о какой-то новой жизни с этой отврати-
тельной лошадю: никто не будет видеть, что он уже совсем
другой, сильный, уверенный в себе человек, а будут думать,
что он прежний, смешной Мечик, которому нельзя доверять
даже хорошей лошади.

– У кобылы у етой, помимо протчего – ящур... – неубе-
дительно говорил взводный, не желая знать, как Мечик оби-
жен и доходят ли слова по назначению. – Лечить бы его надо
купоросом, иначе купоросу у нас нету. Ящур лечим мы ку-
риным пометом – средство тоже очень искреннее. Наложить
надо на тряпочку и обернуть округ удилов перед зануздой
– очень помогать...

«Что я – мальчишка, что ли? – думал Мечик, не слушая
взводного. – Нет, я пойду и скажу Левинсону, что я не же-

лаю ездить на такой лошади... Я вовсе не обязан страдать за других (ему приятно было думать, будто он стал жертвой за кого-то другого). Нет, я все скажу ему прямо, пускай он не думает...»

Только когда взводный кончил и лошадь была вверена всецело попечению Мечика, он пожалел, что не слушал объяснений. Зючиха, понутив голову, лениво перебирала белыми губами, и Мечик понял, что вся ее жизнь находится теперь в его руках. Но он по-прежнему не знал, как распоряжаться нехитрой лошадиной жизнью. Он не сумел даже хорошенько привязать эту безропотную кобылу, она бродила по всем конюшням, тычась в чужое сено, раздражая лошадей и дневальных.

— Да где он, холера, новенький этот?.. Чего кобылу свою не вяжет!.. — кричал кто-то в сарае. Слышались яростные удары плети. — Пошла, пошла-а, стерва!.. Дневальный, убери кобылу, ну ее к...

Мечик, вспотев от быстрой ходьбы и внутреннего жара, перебирая в голове самые злые выражения, натываясь на колючий кустарник, шагал по темным, дремлющим улицам, отыскивая штаб. В одном месте чуть не попал на гулянку — хриплая гармонь исходила «саратовской», пыхали сигарки, звенели шашки и шпоры, девчата визжали, дрожала земля в сумасшедшем плясе. Мечик постеснялся спросить у них дорогу и обошел стороной. Он проплутал бы всю ночь, если бы навстречу не вынырнула из-за угла одинокая фигура.

– Товарищ! Где пройти к штабу? – окликнул Мечик, подходя ближе. И узнал Морозку. – Здравствуйте... – сказал с сильным смущением.

Морозка остановился в замешательстве, издав какой-то неопределенный звук...

– Второй двор направо, – ответил наконец, не придумав ничего большего. Странно блеснул глазами и прошел мимо, не оборачиваясь...

«Морозка... да... ведь он здесь...» – подумал Мечик и, как в прежние дни, почувствовал себя одиноким, окруженным опасностями, в виде Морозки, темных, незнакомых улиц, безропотной кобылы, с которой неизвестно как обращаться.

Когда он подошел к штабу, решимость его окончательно ослабела, он не знал уже, зачем пришел, что будет делать и говорить.

Человек двадцать партизан лежали вокруг костра, разведенного посреди пустого, огромного, как поле, двора. Левинсон сидел у самого костра, поджав по-корейски ноги, околдованный дымным шипучим пламенем, и еще больше напомнил Мечiku гнома из детской сказки. Мечик приблизился и стал позади, – никто не оглянулся на него. Партизаны по очереди рассказывали скверные побасенки, в которых неизменно участвовал недогадливый поп с блудливой попадьею и удалой парень, легко ходивший по земле, ловко надувавший попу из-за ласковых милостей попадью. Мечiku каза-

лось, что рассказываются эти вещи не потому, что они смешны на самом деле, а потому, что больше нечего рассказывать; смеются же по обязанности. Однако Левинсон все время слушал со вниманием, смеялся громко и будто искренне. Когда его попросили, он тоже рассказал несколько смешных историй. И так как был среди собравшихся самый грамотный, истории его получались самыми замысловатыми и скверными. Но Левинсон, как видно, нисколько не стеснялся, а говорил насмешливо-спокойно, и скверные слова шли, будто не задевая его, как чужие.

Глядя на него, Мечiku невольно захотелось рассказать самому – в сущности, он любил слушать такие вещи, хотя считал их стыдными и старался делать вид, будто стоит выше их, – но ему казалось, что все посмотрят на него с удивлением и выйдет очень неловко.

Он так и ушел, не присоединившись, унося в сердце досаду на себя и обиду на всех, больше на Левинсона. «Ну и пусть, – думал Мечик, обидчиво поджимая губы, – все равно я не буду за ней ухаживать, пускай подыхает. Посмотрим, что он запоеет, а я не боюсь...»

В последующие дни он действительно перестал обращать внимание на лошадь, брал ее только на конное учение, изредка на водопой. Если бы он попал к более заботливому командиру, возможно, его скоро бы подтянули, но Кубрак никогда не интересовался, что делается во взводе, предоставляя всему идти положенным ходом. Зючиха обросла парша-

ми, ходила голодная, непоеная, изредка пользуясь чужой жалостью, а Мечик снискал всеобщую нелюбовь, как «лодырь и задавала».

Из всего взвода только два человека были ему более или менее близки – Пика и Чиж. Но сошелся он с ними не потому, что они удовлетворяли его, а потому, что больше ни с кем не умел сойтись. Чиж сам подошел к нему, стараясь снискать его расположение. Улучив момент, когда Мечик, после ссоры с отделенным из-за нечищенной винтовки, лежал один под навесом, тупо уставившись в потолок, Чиж приблизился к нему развязной походкой со словами:

– Рассердились?.. Бросьте! Тупой, малограмотный человек, стоит ли обращать внимание?

– Я не сержусь, – сказал Мечик со вздохом.

– Значит, скучаете? Это другое дело, это я могу понять... – Чиж опустил на снятый передок телеги и привычным жестом подтянул свои густо смазанные сапоги. – Что ж, знаете, и мне скучно – интеллигентных людей тут мало. Разве только Левинсон, да он тоже... – Чиж махнул рукой и многозначительно посмотрел на ноги.

– А что?.. – спросил Мечик с любопытством.

– Да что ж, знаете, вовсе не такой уж образованный человек. Просто хитрый. На нашем горбу капиталец себе составляет. Не верите? – Чиж горько улыбнулся. – Ну да! Вы, конечно, думаете, что он очень храбрый, талантливый полководец. – Слово «полководец» он произнес с особым вкусом. –

Бросьте!.. Все это мы сами сочинили. Я вас уверяю... Да вот возьмем хотя бы конкретный случай нашего ухода: вместо того чтобы стремительным ударом опрокинуть неприятеля, мы ушли куда-то в трущобу. Из высших, видите ли, стратегических соображений! Там, может быть, товарищи наши погибают, а у нас – стратегические соображения... – Чиж, не замечая, вынул из колеса чекушку и досадливо сунул ее обратно.

Мечику не верилось, чтобы Левинсон был действительно таков, каким изображал его Чиж, но слушать было интересно: он давно не слышал такой грамотной речи, и ему хотелось почему-то, чтобы в ней была доля правды.

– Неужели это верно? – сказал он, приподымаясь. – А он показался мне очень порядочным человеком.

– Порядочным?! – ужаснулся Чиж. Голос его утратил обычные сладковатые нотки, и в нем звучало теперь сознание своего превосходства. – Какое заблуждение. Да вы посмотрите, каких он подбирает людей!.. Ну что такое Бакланов? Мальчишка! Много о себе думает, а какой из него помощник командира? Разве нельзя было других найти? Конечно, я сам больной, израненный человек – я ранен семью пулями и оглушен снарядом, – я вовсе не гонюсь за такой хлопотной должностью, но, во всяком случае, я был бы не хуже его – скажу не хвалясь...

– Может быть, он не знал, что вы хорошо понимаете в военном деле?

– Господи, не знал! Да все об этом знают, спросите у любого. Конечно, многие завидуют и наговорят вам по злобе, но это же факт!..

Постепенно Мечик оживился тоже и стал делиться своими настроениями. Весь день они провели вместе. И хотя после нескольких таких встреч Чиж стал просто неприятен Мечику, все же он не мог от него отвяжаться. Он даже сам искал его, когда долго не видал. Чиж научил его отвиливать от дневальства, от кухни – все это уже утеряло прелесть новизны, стало нудной обязанностью.

И с этих пор кипучая жизнь отряда пошла мимо Мечика. Он не видел главных пружин отрядного механизма и не чувствовал необходимости всего, что делается. В таком отчуждении потонули все его мечты о новой, смелой жизни, хотя он научился огрызаться, не бояться людей, загорел и опустился в одежде, внешне сравнившись со всеми.

Х. Начало разгрома

Морозка, повстречав Мечика, к удивлению своему, не ощутил ни прежней злобы, ни ненависти. Осталось только недоумение, зачем снова попадает на пути этот вредный человек, и подсознательное убеждение, что он, Морозка, должен на него сердиться. Все же встреча так подействовала на него, что захотелось немедленно поделиться с кем-нибудь.

– Иду сейчас проулком, – сказал он Дубову, – только из-за угла выскочил, а прямо на меня – парень шалдыбинский, что привез я, помнишь?

– Ну?..

– Да ничего... «Где, говорит, к штабу тут пройти?..» – «А вон, говорю, второй дом направо...»

– И что же? – допытывался Дубов, не находя во всем этом ничего удивительного и думая, что оно еще будет.

– Ну, встретил – и все!.. Что же еще? – ответил Морозка с непонятным раздражением.

Ему стало вдруг скучно и расхотелось говорить с людьми. Вместо того чтобы идти на вечерку, как собирался, он завалялся на сеновал, но уснуть не смог. Неприятные воспоминания навалились на него тяжелой грудой; казалось, Мечик нарочно встал на дороге, стараясь сбить его с какой-то правильной линии.

Весь следующий день он бродил, не находя места, с трудом подавляя желание снова повидать Мечика.

— Ну что мы сидим без дела? — досадливо приставал к взводному. — Сгниешь тут от скуки... О чем там Левинсон думает?..

— О том и думает, как бы это Морозку повеселить. Все штаны продрал, над этим сидючи.

Дубов и не подозревал о сложных Морозкиных переживаниях. А Морозка, не получая поддержки, исходил зловещей тоской и знал, что скоро запьет, если не удастся рассеяться на горячем деле. Первый раз в жизни он сам боролся со своими желаниями, но силы его были слабы. Только случайное обстоятельство уберегло его от падения.

Забравшись в глухое место, Левинсон почти потерял связь с другими отрядами. Отрывочные сведения, которые удавалось иногда собрать, рисовали жестокую картину развала. Тревожный улахинский ветер нес дымные запахи крови.

По вкрадчивым таежным тропам, где много лет уж не ступала человеческая нога, Левинсон связался с железной дорогой. Ему сообщили, что вскоре должен пройти эшелон с оружием и обмундированием. Железнодорожники обещали точно указать день и час. Зная, что рано или поздно отряд все равно откроют, а зимовать в тайге без патронов и теплой одежды невозможно, Левинсон решил сделать первую вылазку. Гончаренко спешно начал фугасы. Туманной ночью, пробравшись незамеченным сквозь неприятельское

пекло, взвод Дубова внезапно появился на линии.

...Товарные вагоны, прицепленные к почтовому поезду, Гончаренко оторвал, не задев пассажирских. В грохоте взрыва, в динамитной гари взметнулись над головой лопнувшие рельсы и, вздрагивая, рухнули под откос. Берданный затвор от фугаса, зацепившись шнурком, повис на телеграфном проводе, заставив впоследствии многих ломать голову над тем, кто и зачем его повесил.

Пока рыскали вокруг кавалерийские разъезды, Дубов с навьюченными до отказа лошадьми выжидал на Свягинской лесной даче, а ночью увильнул в «щеки»². Через несколько суток был в Шибиши, не потеряв ни одного человека.

– Ну, Бакланых, теперь держись... – сказал Левинсон, и в зыбком его взгляде нельзя было прочесть, шутит ли он или всерьез. В тот же день он раздробил хозяйственную часть, раздав по рукам шинели, патроны, шашки, сухари, оставив сколько могут поднять заводные лошади.

Вся Улахинская долина, вплоть до Уссури, была занята неприятелем. К устью Ирохедзы стягивались новые силы, японская разведка шарил по всем направлениям и не раз натыкалась на дозорных Левинсона. В конце августа японцы двинулись кверху. Шли медленно, с большими остановками, от хутора к хутору, ощупывая каждый шаг, разбрасывая по флангам частые охранения. В железном упорстве их движе-

² Щеки – ущелье. (Примеч. А. Фадеева.)

ния, несмотря на его медлительность, чувствовалась уверенная в себе, разумная и в то же время слепая сила.

Разведчики Левинсона возвращались с дикими глазами, а сведения их противоречили одно другому.

– Как же так? – холодно переспрашивал Левинсон. – Вчера, говоришь, они были в Соломенной, а сегодня утром в Монакине, – что же они, назад идут?..

– Н-не знаю, – заикался разведчик. – Может, то передовые были в Соломенной...

– А откуда ты знаешь, что в Монакине главные, а не передовые?

– Мужики сказывали...

– Дались тебе мужики!.. Как тебе было приказано?

Разведчик тут же сочинял замысловатую историю, почему не удалось проникнуть вглубь. На самом деле, напуганный бабьими рассказами, он не доехал до неприятеля верст десять, просидел в кустах, раскуривая табачок и дожидаясь, когда удобнее будет вернуться. «Ты бы сам сунулся», – думал он про Левинсона, глядя на него затаенно-мигающим мужицким взглядом.

– Придется тебе самому съездить, – сказал Левинсон Бакланову. – Иначе нас тут, как мух, прихлопают. Ничего не поделаешь с этим народом. Возьми кого-нибудь с собой и поезжай чуть свет.

– А кого взять? – спросил Бакланов. Он старался быть серьезным и озабоченным, хотя все внутри билось в тревож-

ной боевой радости: как и Левинсон, он считал нужным прятать истинные свои чувства.

– Возьми кого хочешь... хотя бы новенького, что у Кубрака, – Мечика, что ли? Кстати проверишь, что он за парень. А то говорят про него нехорошее, может, и зря...

Разведка подвернулась Мечику как нельзя кстати. За короткое пребывание в отряде он скопил такое количество невыполненных дел, несдержанных обещаний и неосуществленных хотений, что каждое из них в отдельности, даже выполненное, потеряло бы уже всякий смысл и значение. Но вместе они давили все тяжелей, и глуше, и больнее, не давая вырваться из своего до нелепости узкого круга. Теперь ему казалось, что он сможет разорвать этот бессмысленный круг одним смелым движением.

Они выехали еще до рассвета. Чуть розовели на отроге таежные маковки, в деревне под горой кричали вторые петухи. Было холодно, темно и немножко жутко. Необычность обстановки, предвкушение опасности, надежда на удачу порождали в обоих то приподнято-боевое настроение, при котором все остальное неважно. В теле – легкая зыбь крови, пружинят мускулы, а воздух кажется холодным и жгучим, даже хрустит.

– Эк у тебя кобыла опаршивела, – говорит Бакланов. – Не ухаживаешь, что ли? Плохо... Это Кубрак, дурило, не показал, видно, что с ней делать? – Бакланов никогда бы не подумал, что у человека, умеющего обращаться с лошадыю, хва-

тит совести довести ее до такого состояния. — Не показал, да?
— Да как сказать... — смутился Мечик. — Он вообще мало помогает. Не знаешь, к кому обратиться.

Стыдясь своей лжи, он ерзал на седле и не смотрел на Бакланова.

— А ты у каждого спрашивай. У нас там много понимающих. Ребята есть боевые...

Вопреки мнению Чижа, которое Мечик тоже почти усвоил, Бакланов начинал ему нравиться. Он был такой плотный и круглый, сидел на седле как пришитый. Глаза у него были коричневые и сметливые, он все схватывал на лету, тут же отделяя достойное внимание от пустяков, затем следовали практические выводы.

— Э-э, парень, а я все смотрю, чего у тебя седло ездит! Заднюю подпругу ты до отказа натянул, а передняя висит. Наоборот надо. Давай перетянем.

Мечик не успел еще сообразить, в чем дело, а уж Бакланов, спешившись, возился у седла.

— Ну-у... да у тебя и потник завернулся... Слезай, слезай — лошадь загубишь. Насквозь переседлаем.

После нескольких верст Мечик окончательно уверил себя в том, что Бакланов гораздо лучше и умней его, что Бакланов, кроме того, очень смелый и сильный человек и что он, Мечик, должен всегда безропотно ему подчиняться. Бакланов же, подходивший к Мечику без всякой предвзятости, хотя и почувствовал вскоре свое превосходство, но разгова-

ривал с ним как с равным, стараясь простым наблюдением определить действительную его цену.

– В сопки тебя кто направил?

– Да я, собственно, сам пошел, а путевку мне максималисты дали...

Помня странное поведение Сташинского, Мечик старался как-нибудь смазать значение пославшей его организации.

– Максималисты?.. Зря ты с ними путаешься – трепачи...

– Да мне ведь все равно... Просто там есть несколько моих товарищей по гимназии, вот я...

– Гимназию-то кончил? – перебил Бакланов.

– Что? Да, кончил...

– Это хорошо. Я тоже учился в ремесленном. На токаря. Не пришлось кончить. Поздно, видишь, начал, – пояснил он, точно оправдываясь. – До того я на судостроительном работал, пока братишка не подрос, а тут вот вся эта каша...

Немного погодя он снова задумчиво протянул:

– Да-а... Гимназия... Я тоже мальцом хотел, да уж такое дело...

Видно, слова Мечика навеяли на него много ненужных воспоминаний. Мечик с неожиданной страстностью стал доказывать, что вовсе не плохо, а даже хорошо, что Бакланов не учился в гимназии. Незаметно для себя он убеждал Бакланова в том, какой тот хороший и умный, несмотря на свою необразованность. Бакланов, однако, не видел большого достоинства в своей неучености, а более сложных рассуждений

Мечика не понял вовсе. Задушевного разговора не получалось. Оба прибавили рыси и долго ехали молча.

Всю дорогу попадались разведчики и врали по-прежнему. Бакланов только головой крутил. На хуторе, в трех верстах от деревушки Соломенной, они оставили лошадей и пошли пешком. Солнце давно уже перевалило к западу, усталые поля пестрели бабьими платками, от жирных суслонов ложились тени, спокойно-густые и мягкие. У встречной подводой Бакланов спросил, были ли в Соломенной японцы.

– С утра, говорят, человек пять приезжало, а сегодня штой-то не слышать... Хотя бы хлеба убрать, ну их к лешему...

Сердце у Мечика забилося, но страха он не чувствовал.

– Значит, они и впрямь в Монакине, – сказал Бакланов. – Это разведка приезжала. Крой смело...

Они вошли в село, встреченные ленивым собачьим лаем. На постоялом дворе – с пучком сена, привязанным к шесту, и подводой у ворот – напились молока «по-баклановски»: из мисочки и с хлебцем. Впоследствии, с жутью вспоминая весь этот поход, Мечик неизменно видел перед собой Бакланова, как он вышел на улицу с расплывшимся счастливым лицом и остатками молока на верхней губе. Они не сделали и нескольких шагов, как из переулка, подобрав юбки, выбежала толстая баба и, столкнувшись с ними, остановилась в столбняке. Глаза ее полезли под платок, а ртом она хватала воздух, как пойманная рыба. И вдруг завопила самым прон-

зительным и тонким голосом:

– А родненькие ж вы мои, а куда ж вы идетья?.. Агромяту-ущая сила гапонцив биля школы!.. Сюда идуть, а текайте ж, сюда идуть!..

Мечик не успел еще восчувствовать ее слова, как из того же переулка, маршируя в ногу, вышли четыре японских солдата с ружьями на плечах. Бакланов, вскрикнув, стремительно выхватил кольт и выстрелил – почти в упор – в двоих. Мечик видел, как сзади у них вылетели кровавые клочки и оба они рухнули на землю. Третий патрон попал в перекося, и кольт перестал действовать. Один из оставшихся японцев бросился бежать, а другой сорвал винтовку, но в то же время Мечик, повинуясь новой силе, которая управляла им больше, чем страх, выстрелил в него несколько раз подряд. Последние пули попали в японца, когда уже он лежал, корчась в пыли.

– Бежим!.. – крикнул Бакланов. – К подводе!..

Через несколько минут, отвязав лошадь, бившуюся у постояля, они мчались по улице, вздымая жаркие клубы пыли. Бакланов стоял на телеге, изо всех сил хлестал концами вожжей, то и дело оглядываясь назад, – нет ли погони. Где-то в центре не менее пяти горнистов играли тревогу.

– Здесь они... все-е!.. – кричал Бакланов с каким-то торжественным озлоблением. – Все-е... Главные!.. Слышишь, играют?..

Мечик ничего не слышал. Припав на дно, он чувствовал

дикую радость избавления и то, как в горячей пыли корчится убитый им японец, исходя последними смертными муками. И когда он посмотрел на Бакланова, перекошенное лицо последнего показалось ему противным и страшным.

Через некоторое время Бакланов уже смеялся:

– Ловко получилось! Да? Они в село, и мы – разом. А ты, брат, молодец! Даже не ожидал от тебя, право. Если бы не ты, он бы нас вот как изрешетил!..

Мечик, стараясь не смотреть на него, лежал, подвернув голову, весь желтый и бледный, в темных пятнах, как хлебный колос, сгнивающий на корню.

Отъехав версты две и не слыша погони, Бакланов остановил лошадь возле одинокого ильмака, согнувшегося над дорогой.

– Ты здесь оставайся, а я влезу на дерево, будем караулить...

– Зачем?.. – сказал Мечик прерывающимся голосом. – По-едем скорей. Надо сообщить... ясно, что тут главные... – Он заставлял себя верить в то, что говорит, и не мог. Теперь ему страшно было оставаться вблизи неприятеля.

– Нет, уж лучше обождем. Не затем киселя хлебали, чтоб трех этих дураков пришить. Разнюхаем точно.

Через полчаса из Соломенной выехали шагом человек двадцать конных. «А что, ежели заметят? – подумал Бакланов с тайной дрожью. – Не уйти нам на подводе». Превозмогая себя, он решил ждать до последней крайности. Конница,

не видная Мечику за холмом, проехала уже с полдороги, когда со своего наблюдательного пункта Бакланов заметил пехоту: она только выходила из села густыми колоннами, пыльно отсвечивая оружием... В стремительном гоне до хутора они едва не загнали лошадь, там пересели на своих и через несколько минут мчались уже по дороге в Шибиши. Предусмотрительный Левинсон еще до их приезда (приехали они ночью) выставил усиленное охранение – спешенный взвод Кубрака. Треть взвода осталась с лошадьми, а остальные дежурили возле села, за валом старой монгольской крепостцы. Мечик, передав кобылу Бакланову, остался со взводом.

Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. Туман стлался от реки, было холодно. Пика ворочался и стоял во сне, под ногами часовых загадочно шуршали травы. Мечик лежал на спине, глазами нащупывая звезды; они едва проступали из черной пустоты, которая чудилась там, за туманной завесой; и эту же пустоту, еще мрачней и глуше, потому что без звезд, Мечик ощущал в себе. Он подумал, что такую же пустоту должен все время ощущать Фролов, и ему стало жутко от внезапной мысли, что судьба этого человека может быть похожа на его. Он старался отогнать от себя эту страшную мысль, но образ Фролова не шел из головы. Он видел его лежащим на койке, с безжизненно опущенными руками и высохшим лицом, и клены тихо шумели над ним. «Да ведь он умер!..» – с ужасом подумал Мечик. Но Фролов пошевелил пальцем и, повернувшись к нему, сказал с кост-

лявой улыбкой: «Ребята... шкодят...» Вдруг он задержался на постели, из него полетели какие-то клочки, и Мечик увидел, что это совсем не Фролов, а японец. «Это ужасно...» — снова подумал он, вздрагивая всем телом, но Варя склонилась над ним и сказала: «А ты не бойся». Она была холодной и мягкой. Мечику сразу стало легче. «Ты не сердись, что я с тобой плохо простился, — сказал он ласково. — Я люблю тебя». Она прижалась к нему, и сразу все пропало, ухнуло куда-то, а через несколько мгновений он уже сидел на земле, мигая глазами, нащупывая рукой винтовку, и было совсем светло. Вокруг сустились люди, свертывая шинели; Кубрак, просунувшись в кусты, смотрел в бинокль, все лезли к нему и спрашивали:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.